



Екатерина РУДИК

ОКНО В СОСЕДНЕМ ДОМЕ

Повесть
Хабаровское книжное издательство
1978

Печка оживала, принимая под неверным светом керосиновой лампы образ огромного дядьки в шляпе. Мне стало страшно. Прильнув к стеклу окна, я пыталась различить в темноте фигуру матери. Но чем ближе подступала к окнам ночь, тем беспокойнее вели себя тени. И самая большая из них – от топящейся печки. Не вытерпев, я глянула на нее. Ого! У «дядьки» появился большой несуразный нос, а низко надвинутая шляпа с полями заняла полстены. Я поклялась, что ни за что не гляну в сторону печки до тех пор, пока не вернется мама.

Вот сейчас скрипнет калитка, и с ношей покажется мама. Она уехала со старшей сестрой Людой в деревню менять вещи. Было до слез жаль мое выходное маркизетовое платье с карманчиками, единственное, в котором я, как соседская девчонка Алка Немировская, могла пофорсить. Да и мама места себе не находила, брать его или не брать, снимала с гвоздя, укладывала в чемодан, где лежали приготовленные для продажи вещи. А потом снова вешала на гвоздь.

И все-таки увезла. В опустевшем комодe осталась кожанка брата и отцовский бушлат.

Уехала мама рано утром, а меня оставила хозяйничать. День прошел замечательно! Я сразу же отыскала оставленную мне суточную порцию хлеба. Уселась с ним у окна на сундуке. До войны он был закрыт на замок, и мы с сестрой сгорали от желания узнать, что в нем хранится. Недавно там лежала картошка, которую мама привозила из деревни. И овес там был сладкий... На внутренней стороне крышки сундука я любила рассматривать старинные картинки, изображающие чье-то восхождение на солнечное до белого блеска небо.

Сейчас на дне сундука лежали старенькие занавески и пожелтевшая картонная корона, на которую я втихомолку пришила разноцветные пуговицы – их я без спроса срезала с материнского халата. И корона и занавески – это была моя тайна – они мне нужны

были для танцев. Репетировала я в стороне от посторонних глаз, у завалинки. Когда Алка Немировская проходила мимо и увидела, как я делаю там «ласточку», она воскликнула: «Да у тебя станок, как у настоящей балерины!» Станки есть на заводе, они стучат, гремят, а здесь – завалинка.

Ну станок так станок. Как только мама увидела корону и опознала свои пуговицы, высыпала мне по первое число, а корону бросила в сундук. Так сундук стал моей собственностью.

Недавно я припрятала сюда ситцевые занавески, изображавшие во время репетиций крылья птицы. Завязываешь покрепче тесемки занавесок у кистей рук – очень красиво получается. Хотя выпрашивать пришлось долго. Как ни высмеивала меня Людка, сундук я стала закрывать на замок.

Кто бы мог подумать, что очень скоро корона с пуговицами и занавески-крылья мне покажутся просто барахлом. Вместо них в сундуке будут лежать атласные балетные тапочки с розовыми тесемками и белоснежная пачка, как у настоящей балерины. Но этому предшествовали некоторые события, и начались они в то самое утро...

Расположившись на сундуке, я стала растягивать удовольствие, делить горбушку на три равные части: завтрак, обед, ужин, – как велела мама, и устроила пир на весь мир. На улице шел мелкий дождь. Сквозь плачущее стекло был виден дом с верандой. Формой своей наш двор напоминал аэроплан – там, где кабина пилота, дом с верандой, с правого крыла – наш домик и большой многооконный Немировских, с левого крыла – ветхий, вросший в землю – Кольки Мячикова. Там, где в аэроплане должны сидеть пассажиры, – тротуар и проезжая колея, всегда или пыльная, или слякотная, и такая узкая, что не всякий шофер ухитрится выехать благополучно со двора. Опытный поймет, что нужно повернуть машину к правому крылу – к еще более узенькой тропе, ведущей к нашей калитке, а потом уж развернуться.

Летом по краям проезжей части двора густо росли ромашка, крапива, паслен. Но паслен не успевал созревать: детвора срывала его зеленым, как ни ругали за это взрослые. Особенно много было ромашки. Она вылезала даже из-под досок тротуара. Мы собирали ее для фронтовиков, как целебное средство, и сдавали в аптеку. А чтобы сдать побольше, собирали в своих огородах и даже ходили в детский парк и на стадион «Динамо», где тоже росла ромашка. Высушенная, она очень легкая, и полнехонькая наволочка едва тянула на весах килограмм.

Крапива после войны почему-то расти не стала, а у нее в колючках такие вкусные, хоть и маленькие, скользкие – они расплзались на языке – зернышки.

Даже мама удивлялась: «Сколько крапивы было до войны, полешь-полешь, а она снова поднимается».

От улицы наш двор был отгорожен забором с тяжелыми воротами на железных кольцах. Одно оборвалось, и ворота крепились на огромный крюк. Чаще ворота были распахнуты. И это для нас было маленьким праздником: вот она, улица, ведущая на базар. И уличный шум врывается в наш тихий двор. К нам заходили прохожие – просили напиток. В калитку со словами «Эй, хозяйка!» неуверенно стучались попрошайки-нищие, и наши жильцы делились с ними, чем могли. Приходили меняльщики. Они предлагали поношенное галифе, часы, стоптанные сапоги, четушки с водкой и даже новые чесучевые брюки. И все требовали на обмен хлеба. А откуда мог быть хлеб у нас? И они уходили ни с чем.

В воскресенье, когда наплыв людей, идущих на базар, был особенно большой, ворота закрывали на крюк. И тогда входили через тяжелую дверь калитки с тугой пружиной, которая громко визжала, а дверь ухала. Проходить с ведрами через эту дверь – ну прямо мука. Вода расплескивалась, и половина ведер оставалась под дверьми, в ямке, которую выгребли собаки, пробираясь на улицу со двора или обратно.

Сразу за нашим сарайчиком возвышался самый красивый на нашей улице двухэтажный дом с колоннами, круглыми окнами и розовым балконом. Рядом с домом

шумел настоящий парк с высокими тополями. Здесь помещался детский дом¹. Старые люди говорили, что когда-то в нем жил богатый купец, а слуги жили в нашем дворе. Наверное, очень большие богатеи были, если им подчинялось столько слуг. Это значит и в доме Мячиковых – слуги, и в доме Ароновых, и в доме с верандой, и в нашем – все те, кто жил до нас, были слугами. Они чистили сапоги богатеям, готовили еду, таскали воду, а чем же занимался купец? Ел да пил? Таких людей мне ни разу не приходилось встречать. Купчина держал слуг на запоре, вон какие ворота построил, кольца приделал. А сейчас вот у нас ворота распахнуты.

Хочешь – иди в город, а это рядышком. И цирк и городская площадь Свободы², которую окружали военный госпиталь³, мелкие домишки и военная музыкальная школа. В центре площади стоял памятник Владимиру Ильичу Ленину, а вокруг него зеленым строгим квадратом палисадник, низкие деревца которого всегда ровненько подрезали. К памятнику вел узкий проход. Когда был День Победы, здесь собрался весь Хабаровск. По площади проезжали танки с флагами. Праздник был необыкновенный. У нас, у всех детей, были красные флажки. Мы веселились на площади до поздней ночи. Взрослые про нас забыли. И без фонарей на улицах было светло как днем – люди жгли факелы. И хотя площадь была не асфальтирована, народ так ее утоптал, что лучшего асфальта и не надо. В обычные же дни без калош пройти здесь трудно. И только у самого цирка — пяточок асфальта. На площадь без дела нам не разрешалось ходить, да мы не очень-то и хотели: в нашем дворе было весело.

Вот и сегодня, хоть и лил дождь, заметно оживление. Вот под маленьким зонтиком важно прошагала Алка Немировская; сутулясь, проскочил Колька Мячиков, — наверное, боится, чтобы мать не увидела. Мячиков, вопреки своей фамилии, тощий, длинный, и только на веснушчатом лице толстые, пухлые губы. За высокий рост и худобу мы прозвали его Достань Воробушка. Хныча и падая, за ним последовали две его сестренки-близнецы Вера и Надежда. Мать Кольки действительно круглая и быстрая, как мячик. Крикливая, вечно жалующаяся на судьбу, она называла своих детей «оравой» и «дармоедами». Говорили, что Мячиха выходит замуж. Во дворе посмеивались: «Мало ей Веры, Надежды. Ей еще Любовь подавай».

Колька Мячиков, он мой друг, долго умалчивал о предстоящем замужестве матери. Но однажды проговорился. Было это так. Играли мы с ним у забора, за которым виднелось здание детдома. Влекло нас неприметное, полуподвальное окошко с вентилятором вместо форточки. Через него распространялся чудесный, забытый за годы войны, запах кипяченого подгоревшего молока. Его пили маленькие детдомовцы. Мы прохаживались мимо вентилятора и, болтая, наслаждались запахом молока. Вот тогда у Кольки вырвалось с тоской:

— Коротышка, ухажер материн, чемоданы собираются привезти к нам. Приедет — я сбегу.

Сколько я его ни пытала, он больше не распространялся о Коротышке. И я поняла, что Достань Воробушка ждут большие перемены в жизни. Оказывается, морская свинка правильно предсказывала Кольке судьбу. Это было на базаре. Когда хозяин морской свинки — слепой — разрешил Кольке бесплатно погадать, свинка вытащила бумажку. На ней были выбиты точки. Слепой, щупая точки чуткими пальцами, перевел: «Вас ждут большие перемены в личной жизни», Значит, перемены ждут и Кольку и его сестренки-близнецы, ведь он за них отвечал.

Достань Воробушка был не очень добросовестной нянькой, при первой возможности пытался улизнуть от сестренки. Но у него ничего не получалось, они ходили за ним всюду словно привязанные. Даже на репетиции они стояли с нами в хоре.

Мы уже давно готовились к концерту. Я должна была танцевать свой балетный танец «Море», который придумала сама.

¹ В настоящее время (2008 г.) это здание Дворца бракосочетания в г. Хабаровске на ул. Пушкина

² Площадь Ленина

³ Больница №3

Я никогда не видела море. Представляла себе его таким, как Амур, только без противоположного берега. Еще я видела картину «Девятый вал». Она висела на влажной, с подтеками стене в тесном, темном коридоре городской бани, где всегда толпился народ. Приходилось ждать час, а то и два, когда банщица скажет «следующий» и входишь ты. Здесь встречались знакомые и в разговоре коротали время. Мне тоже не было скучно. С первого же раза картина меня ошеломила, никогда я такого не видела — бушующая стихия, гибнущие, застигнутые штормом люди. Я не могла оторвать от картины взгляда. Безбрежный Амур да картина «Девятый вал» помогли мне представить, какое оно — море.

Я уже забыла про страшную печку, про ночь, что затаилась там, за окном. Передо мной на веранде, построившись и кружок, наш хор разучивает песню на английском языке:

«Капитан, капитан, улыбнитесь». Веснушчатая, тонконогая Аллочка Немировская, так ее звали взрослые, а мы просто «Алка-шкидла», была безголосая, и потому мы разрешили ей дирижировать хором. Немировская старшекласница, изучала английский язык, который мы еще не скоро будем учить.

Достань Воробушка сбивался, начинал куплеты невпопад — что с ним стряслось? «Наверное, тетя Настя вышла замуж», — решила я. Так ведь в сказках злые в основном мачехи, про отчимов же ничего не сказано... А их Коротышку я видела в нашем дворе, еще когда была война и от Колькиного отца приходили письма с фронта. После очередного его посещения близнецы появлялись на улице с ломтями хлеба. А сегодня они, голодные, жмутся к Кольке. Да если бы Коротышка переехал, я бы его обязательно увидела.

Мы стояли в хоре с Колькой рядом, и, когда по взмаху дирижерской палочки дружно подхватывали: «Кэптин брэйф, кэптин брэйф, гив э смайл сее», — мой сосед молчал, как воды в рот набрал. Я толкнула его под бок:

— Ты что, оглох?

Он рассеянно буркнул:

— Отстань! — А когда репетиция закончилась, Колька потянул меня за руку и загадочно произнес: — Хочешь, что-то покажу? — И молча повел за собой.

За нами тащились чумазые, с всклокоченными волосенками Вера и Надежда. Мы остановились около поваленного забора.

— Вот видишь! — указывая на него, негромко произнес Колька. — Вчера забор стоял нормально, а сегодня повален. «Черная кошка» приходила. Даже мать моя слышала, как всю ночь выл кто-то.

Мы со страхом рассматривали низко прогнувшиеся на одну сторону, выцветшие, когда-то зеленые доски.

Тогда, сразу после войны, много слухов ходило о «черной кошке». Что бы ни произошло — это проделки «черной кошки», обворовали квартиру — ее же работа. Мы с Колькой ни с чем подобным не сталкивались раньше и не представляли, какая она, «черная кошка».

И здесь, рассматривая поваленный забор, ясно представила я ночную пустынную улицу. На изгороди сидят угрюмые дядьки в черном, с торчащими, как у кошек, острыми ушами; бледная луна освещает их перекошенные лица. Мы попытались найти кошачьи следы, но ничего не обнаружили. Целый день провели в гнетущих размышлениях. Зачем приходила «черная кошка»? Что ей надо в нашем доме? Разговоры вели только о похождениях «черной кошки» и удивлялись, как это она не сообразила украсть гусей. Гуси у Немировских короткокрылые, жирные. Чем только они их кормили? Словно Немировские и знать не знали, что есть очереди за хлебом и что дневная порция — двести граммов. Возле их дома стоял «виллис», и отца Алки — врача дядю Мишу — никто не видел идущим пешком: машина останавливалась у самого крыльца. Он был начальником в районном отделе здравоохранения. Когда мне пришла пора собираться в школу, а ботинки развалились, Алка принесла новенькие. Небрежно держа на пальце шнурки, связывающие ботинки, и покручивая их, она сказала: «Мне малы, папа велел вам

передать». И эта нечаянная доброта никак не вязалась с непроницаемым замкнутым лицом дяди Миши.

Мать Кольки нигде не работала. Я ее часто видела на базаре. Товар у нее был недорогой. Всю войну она шила плечики. Маленькие, аккуратные и большие, с четверть подушки. Плечики поменьше – для платьев, а большие – для пальто и костюмов. Мне хотелось стать побыстрее взрослой, чтобы носить платья с плечиками.

Уже несколько месяцев, как закончилась война. Стояла осень, а мой отец и брат Павлик не возвращались. Совсем недавно принесли матери Кольки газету, где в списке погибших смертью храбрых была фамилия отца Кольки. Газету эту Колька зачитал до дыр. Там было указано – сентябрь 1945 года, а победу мы отпраздновали в мае. Мир — это ни одного выстрела, почему же отца Кольки убили? Что-то здесь не так. Мы с мамой верили, что отец вернется, - иначе быть не могло, вот и берегли отцовский бушлат.

Сегодня вечером печь у нас растапливала тетя Настя — по просьбе мамы. Уходя, она сказала:

- Как печка погаснет, кочергой угли побей, чтоб искр не было. И трубу закрывай, не то все тепло выдует.

Фантастические тени заполнили стену, кажется, даже шептались между собой. А мамы все не было. Я прислушивалась к звукам, доносившимся со двора,— не воют ли «черные кошки»? А может, узнали, что я одна в доме, забрались на крышу? От этих мыслей стало не по себе.

Тени на стене посветлели, печка затихла. Очень хотелось есть. Напрасно я не послушала маму и не оставила на вечер ни граммчика от пайки.

Чтобы не думать о хлебе, стала мечтать о том, как приедет мама, как мы будем есть мед и даже хлеб – ведь увезла же она менять мое маркизетовое платье с карманчиками.

Когда раздался решительный стук в дверь, я очнулась, ничего не соображая.

— Кто? — И не узнала маминого голоса. Замешкалась, не могла сразу открыть дверь, и, когда наконец она распахнулась, мимо, тесня друг друга, прошли незнакомые женщины в телогрейках.

Испугал голос мамы:

— Господи, за что ты нас наказал! — В одной руке она держала бидон, а другой поддерживала сестренку Люду, беспомощно опиравшуюся на нее.

Сестру уложили на кровать, и я, когда подошла к ней, ужаснулась; во всю щеку и на лбу кровоточили ссадины. Мама суетилась, искала полотенце, намочив, прикладывала его к лицу Люды, причитала:

— Говорила, по ходу поезда прыгай!

Оказывается, ехали они товарняком. Он не останавливался на нашей станции, пришлось им прыгать на ходу. И Людмиле не повезло.

Женщины снимали телогрейки, развязывали платки. От узлов, незнакомых людей в кухне стало тесно. Мама чистила картошку. Обо мне словно все забыли. Я хотела было пробраться к бидончику с медом.

— Марина, дай воды попить, — позвала Люда из комнаты.

Из глаз сестры текли слезы. Она была гордой, а тут слезы. Значит, от боли терпения нет. И я ничем не могла ее утешить. Только воды принести...

Печка снова разгоралась, и тени, падавшие от нее, были добрыми, веселыми, как и незнакомые, хлопотливые женщины, заполнившие кухню.

Мама положила всем дымящейся картошки, и женщины сели за стол. Разогрелись от тепла и от еды, и лица их порозовели. Только одна, в низко надвинутом на глаза платке, сидела, согнувшись, не вмешиваясь в общий разговор.

Все они красноармейки. Самая веселая из них, с ямочками на щеках, русоволосая, вынула из-за пазухи затертую бумагу.

— Самой первой мне в избу принесли, — произнесла она. И это меня удивило, ведь когда идет речь о похоронках, всегда плачут. — Эх, Петр, Петр, мужик был, сто сот стоил.

Руки золотые. Помню, поженились, ничего не давал делать. Пойду полоть, а он тяпку прочь кинет и поет: «Эх, конь вороной, золотая грива, коли хочешь жить со мной, собирайся живо». Запряжет двуколку и покатили. А твой как? — обратилась она к моей матери.

— Должен демобилизоваться. Писал. Мой-то очень хороший, непьющий.

Какой у меня отец? Я очень хорошо знала его по долгим, похожим на интересную книжку рассказам матери. Он был совсем маленьким, когда мой дед с братьями на плотках плыл по рекам среди дремучей тайги. Тогда не было никаких селений и людей — только леса, поляны. Они плыли долго-долго. Везли на плотках корову и даже кур. А когда мука оказалась на исходе и кормиться стало нечем, остановились. Выбрали красивое место и стали строить жильё в лесу. Назвали селение Платово. У Люды, сестры, — она считалась в школе поэтом — были такие стихи:

Амур стоит в покое величавом,
Мой дед — он первым покори́л его,
Землепроходец русский и кудрявый
Пшеницу сеял, возводил жильё.

Почему дед кудрявый, я не понимала. Может, с бородой, наш же отец никогда не носил бороду, а только усы. Когда началась революция, в их селение ворвались беляки, отец ушел с партизанами в лес. Мама, тогда молодая девушка, ходила по домам, собирала продукты, одежду для партизан. И по колено в снегу, украдкой везла в лес, в отряд. О маме говорили, что она была первой красавицей в Платово. Только от красоты своей она никакой радости не имела. Много трудиться приходилось. С петухами поднималась и до поздней ночи в поле, а даже сапожков городских не сносила. Папа ее очень любил. И перед тем как уйти в партизаны, говорил: «Жди, Дуня, будет скоро жизнь счастливая, раздольная. По всему Амуру дома такие большие понастроим, на втором этаже с тобой жить будем. С балконом!»

Его все уважали, он был справедливый человек. И обязательно осуществилась бы его мечта — дали бы нам квартиру на втором этаже с балконом. Но тут началась война. И мы продолжали жить в этом маленьком домике со ставнями.

Женщины вспоминали довоенную жизнь. И только та, что не сняла платок, угрюмо молчала. Мама участливо спросила:

— Вам подложить картошки? — Женщина непонимающе посмотрела на нее, неопределенно покачала головой.

— Матрена, ну ты совсем затужила, — мягким голосом произнесла русая, с ямочками на щеках. Вся веселость с нее сошла, когда она тихо стала объяснять: — Мужик ее председателем колхоза был. Он и два сына погибли, а третий вернулся искалеченный, весь обожженный.

— Где его обожгло? — стараясь разговорить Матрену, спросила русая.

— В танке. Танкистом был. Парнишка еще, на войну сбежал без спросу. Привезли его — как кукла, перевязанный. Отцов брат — он в городе живет — мог бы вспоможение сделать. Намеркала я ему. Но как калеку к жизни вернешь?

Говорила она тихо, монотонно.

Мать принялась за постели. Расстилала на полу телогрейки, пальто, все, что было в доме. Русая расплела косу. Волосы цвета поздней пшеницы рассыпались по плечам, мать восхищенно произнесла:

— Какая вы, Дарья, красивая!

— А кому моя красота? В колхозе одни бабы остались. Песню поют: «Эх, война, война, ты меня обидела, ты заставила любить, кого я ненавидела».

— Бабы, как жить-то будем? Нешто одной век вековать?

И они стали говорить о непонятном мне.

Я пролезла в свой угол, перешагнув через Матрену; она так и не сбросила платок. Мать задула лампу. Тишина была недолгой.

Я вся превратилась в слух, когда Дарья спросила:

— А ты, Феня, крепко стухнула, когда тот мужик из лесу вышел?

— Бог его знает, бабы, что он за человек. Может, бендеровец. Вот ведь был случай. В пограничном селении жила одна женщина с сынишкой, тоже красноармейка. Стала замечать в доме что-то неладное. Утром приготовит обед, а вечером придет с работы — кастрюля пустая. Спрашивает сына, это ты, мол, съел? А он плачет, не ел я, мама. Кастрюлю на замок не закроешь. Сына она отвезла к бабке. Возвращается — опять в кастрюле пусто. А ночью, как от толчка, проснулась, открыла глаза: перед ней обросший мужик. «Ну-ка, — говорит, — подымайся, жрать готовь». А сам ключом играет и показывает на подполье: «Я, мол, оттуда, не удивляйся». Сала она нажарила, не пожалела. Он сидит напротив и ключом поигрывает. Шкворчит сало. «Готово», — сказала она, да как плеснет прямо ему в морду нахальную. Взыл. А она стекло разбила и в окно прыгнула.

— И правильно, — после некоторого молчания сказала другая. — Я бы той сковородкой ему все зенки повыбила. Нечисть после войны развелась. Вот у нас был случай... — Они стали говорить полупшепотом. Кто-то прыснул от смеха. Мать встрепенулась:

— Маринка, ты спишь?

— Сплю.

Женщины снова хохотнули.

От всего пережитого за день я не могла уснуть. Поваленный забор, разговоры о «черной кошке» и этот рассказ гостьи о бородатом мужике, спрятавшемся в подполье, — все слилось в тревожные картины.

Может, в нашем доме тоже живет кто-нибудь, только мы не догадываемся? Каждую весну и осень в наше подполье набегают столько воды, что мы ведрами вычерпываем и прямо через окошко в огород выливаем. Вода убегает по желобу. А потом несколько дней крышку подполья не закрывают, чтобы сушилось. И было такое, когда, забывшись, Люда шлепнулась в подполье. А нынче оно сухое. Уходя на фронт, отец вырыл в нем как бы колодец, узкий — лишь ведро пройдет — и глубокий-глубокий. Огородил его туго сбитыми досками. В нем и собирается вода, а в самом подполье, где должна храниться картошка, воды не стало. Тогда мы все радовались папкиной выдумке. «Главное, вовремя вычерпывать воду», — говорил он. Но уже давно в подполье никто из нас не заглядывает — оно пусто, ни картошки в нем, ничего другого съестного, только пустая бочка из-под капусты. И даже воды в колодце — на доньшке. Удобное жилье для ворушки какого-нибудь. Надо бы проследить за крышкой, ведь если там сидит кто, каждую минуту может вылезти.

Спала я беспокойно. Когда открыла глаза, в окно глядело солнце и голубое высокое небо. В комнате было пусто. Пол чисто подметен. Телогрейки, пальто висели на своих местах, словно мама никуда не ездила, не было солдаток и разговоров не было. Но мне все равно было страшно оставаться одной в комнате, и я побежала на кухню, к Людмиле.

— Людка, ты смелая? — обратилась я к сестре. — Если смелая, слазь в подполье, посмотри, кто там? Я в доме одна не останусь, так и знай!

— Да ты что, сдурела?

Но я так просила, что она все-таки взяла керосиновую лампу и нехотя спустилась в подполье. А я легла на пол, наблюдая за ней сверху. Подполье было абсолютно пусто. Вылезая из него, Людмила всю ругала ночных гостей за то, что они рассказывали всякие глупости...

— Не вздумай кому-нибудь болтнуть про подполье, — раздраженно говорила она. — Насочиняешь, у тебя ума хватит.

У окна стоял Колька и, прижав лицо к стеклу, глазами звал меня. Я принялась искать ботинки Люды, их нигде не было. Под вешалкой валялись чьи-то рваные тапочки.

— Это чьи?

Сестра нехотя произнесла:

— Одной девочке мои ботинки понравились. Взамен вот эти тапочки дали и пять штук яиц. Когда прыгала с поезда — разбила.

Всунув ноги в чужие тапки, я походила в них на носочках и выскочила на улицу. Меня уже ждал весь двор.

— Концерт сегодня! — кинулись ко мне ребята. — Видишь, денек-то какой!

— А ты все дрыхнешь, — проворчал Мячиков.

День действительно был хорош. Осеннее солнце заливало двор нежарким светом, высушивая влажную от дождя землю. И сразу появилось много веселых оконцев на лужах. А теплынь — как летом, словно и не было вчерашнего холодного вечера.

Мы сидели на перилах веранды и ждали, когда начнется репетиция. У наших ног из песка строили домик Вера и Надежда.

Алка, излишне и наигранно жестикулируя, строго сказала:

— Кармалинова, твой номер идет третьим. Отрепетируй хорошенько.

— Аккомпанировать будете? — деловито спросила я. Трудность была в том, что мне приходилось одновременно танцевать и петь, а мне не хватало дыхания.

— За аккомпанемент не беспокойся, — пообещала руководительница.

Весть, что сегодня в нашем дворе будет концерт, мгновенно облетела улицу. И вечером собрались из соседних дворов ребята, старухи с малышами.

Картошку на огороде уже убрали. Рыжая ботва валялась по краям грядок. Ребята собрали ботву и решили, если концерт затянется, зажечь костер. Утоптали грядку у забора — она должна стать сценой. Под гримировочную приспособили узкий проход между забором и стеной сараюшки, где у нас хранились лопаты и грабли. Колька заботливо приделывал мне па руки крылья-занавески. Ведь я море, летящие волны.

Колька нервничал, он открывал концерт стихами. Алка носилась с программой, еще раз выясняя готовность артистов.

Зрители сидели кружком на собранной ботве, когда конференсье четко объявила «первый номер нашей программы». Колька смущенно вышел на середину грядки и, не зная, куда деть руки, начал читать «Полтаву». Аплодисменты были шумные. Потом пел хор.

— А сейчас выступит Марина Кармалинова, — громко объявила Алка. Она станцует балет «Море». Похлопаем, ребята.

Зрители заинтересованно смотрели на мои крылья-занавески. Раздались смешки. Когда зрители успокоились, я, привычно легко делая шпагат, опустилась на грядку. Земля была холодной, и, конечно, не существовало никакого занавеса. Не таким мое воображение рисовало настоящий балет: тяжелый занавес раскрывается, а я — «море» — вырастаю в летящих голубых лентах, как в волнах. Запела от волнения хрипловатым голосом. Мне откликнулись нестройными голосами зрители — девочки. И, на мгновение позабыв, что на дворе осень, я медленно, с чувством поплыла на носочках. Тихое величавое море пело во мне. Девятый вал — вой ветра, снесенные с берега лодки — стихия. Я не замечала, что ноги тонут в сырой земле, не слышала, что хор сбился и замолчал. Я была морем. А когда раздались аплодисменты, склонилась в поклоне. Меня вызывали на бис, свистели, кричали «еще». И тут я увидела в калитке мать. Она подошла ко мне, погладила по голове и сказала: «Учиться бы тебе. Вот вернется отец».

Раньше мама обещала отдать меня в балетную школу, когда закончится война. Война позади. А вот сейчас нужно ждать отца. Приходится рассчитывать на себя. Летом мы, детвора, торговали водой. Обыкновенной ледяной из колодца. В воскресные дни на базаре собирался городской люд. Народ валил валом через наш переулок. Мы горланили:

— Кому, кому воды холодной? Двадцать копеек стакан!

От покупателей отбою не было, даже выстраивалась очередь. Успевай разворачиваться. К вечеру нестерпимо начинала ныть спина, хотя мать обвязывала коромысло полотенцем. И даже звенящая мелочь не облегчала усталости.

Весной и осенью наш заработок — цветы, которыми мы торгуем около цирка. Спрос, конечно, на них невелик, за букет платят копейки. А собирать весенние цветы — не воду из колодца таскать, приходится ходить далеко, за старое кладбище. Зато осенью раздолье — неприхотливые разноцветные астры кустятся по всему огороду.

У цирка всегда весело — огни, празднично одетые люди, музыка, доносящаяся из-под зеленого купола. Контролерши гнали нас, и все-таки мы проникали в цирк. Редко, но выпадал случай обменять букет цветов за контрамарку. А чаще — по «заборной книжке». Колька нашел в заборе доску, которая, если ее покрепче нажмешь — отодвигалась. И мы оказывались в святая святых. Близо видели напудренные, разрисованные лица артистов, готовящихся к выступлению. Тихо, едва дыша, пробирались через конюшню, ощущая запах пота, свежих опилок. Здесь же разминались перед выходом на манеж в ярких, расшитых золотом и серебром костюмах гимнасты, велосипедисты, жонглеры. Вот она, жизнь, которая ждала меня, только здесь цирк, а у меня будет театр.

Насмотревшись и наудивлявшись, я даже подумывала, не стать ли мне артисткой цирка. Выучила и распевала марш лилипутов: «Мы все те же на манеже сейчас, встречаем вас улыбкой глаз». Но вскоре разочаровалась. У Мячиковых этим летом жил клоун Казаченко — детвора ходила за ним стаями. Однажды он повесил на изгородь «многопудовые» гири, с которыми работал на манеже. Подул сильный ветер, гири взвились в воздух и шлепнулись в огороде. А мы-то ахали, как легко он их поднимает. С тех пор я во всех артистах цирка, особенно клоунах, видела несерьезных людей, обманщиков. И все-таки мир музыки, манеж были заветной радостью.

Мама велит нам быть дома не позже одиннадцати, а сама возвращается к полуночи. Опухшими от стирки руками развязывает узелок. Мы не спим и ждем этого момента. Когда мать режет хлеб, мы не сводим глаз, хотя знаем: самый большой кусок — мне, Людмиле поменьше, а себе самый маленький — все как в сказке о трех медведях, только наоборот.

Утром мама отправлялась гладить стиранное с вечера белье, Людмила — в школу, а я — к своему «станку». К черту торговлю водой, цветами — я должна стать балериной.

Дом Немировских и наш стояли вплотную друг к другу. Прямо в нашу дверь было обращено большое окно Немировских. И чтобы в него не заглядывали, оно всегда было плотно закрыто темной шторой, отчего превращалось в зеркало. В окне даже отражалась медная ручка нашей двери. Окно подпирала широкая завалинка. Здесь-то я и танцевала. Видела в окне каждое свое движение, усердно отработывала поворот руки, плеч.

Дождь и ветер не мешали мне. Лишь бы не было свидетелей, не видела мать. И, танцуя, втайне сожалела, что никто не догадывается незаметно сфотографировать меня в этот момент. Тем, кто будет описывать мою жизнь, небезынтересно будет узнать, что начала я танцевать с раннего детства, как поэты начинают писать стихи, и фотография моя была бы кстати. Ведь я стану знаменитой балериной, своим талантом я покорю не только наш город. Зрители будут интересоваться моей судьбой. Именно такой будет моя жизнь, другой я не хотела. Измучивала себя «полушпагатами», «мостиками», «шпагатами».

Но чаще времени на репетиции почти не оставалось. Мама поднимала нас чуть свет, и мы шли занимать очередь за хлебом. За окном еще было темно. Ой, как не хотелось рано вставать! Мама стягивала одеяло, ласково уговаривала, а я уже не спала, но глаз не открывала, и мама начинала сердиться.

Мы шли по темной улице. В чернильной тьме прятались дома, изгороди, строения, а солнце безмятежно спало где-то там. «У солнца нет матери, и его некому будить пораньше», — рассуждала я, и мама смеялась над моими словами.

У магазина мама перекидывалась с женщинами двумя-тремя словами и уходила стирать белье.

Здесь собиралась вся детвора переулка, мы гонялись взапуски, играли в палочку-выручалочку, прятки. Но, даже увлекшись играми, никогда не пропускали своей очереди.

А сидя в классе, слушая монотонную речь учительницы, я засыпала. На уроке мне даже успевали сниться короткие сны. Тамара Ивановна, уже немолодая учительница с большими серыми глазами, с грустной усмешкой говорила:

— Кармалинова, ты приходишь в школу спать?

Школу я не любила. В нашем дворе было намного веселей. К тому же учительница, мне казалось, недолюбливала меня. Хотя, наверное, я сама во всем была виновата.

Сначала, в первом классе, я души в ней не чаяла. Даже на дополнительные занятия Тамара Ивановна разрешала приходиться к ней домой. Учительница знала все, на любой вопрос могла ответить: почему идет дождь, как растут деревья, почему светит луна? А когда я начинала рассуждать, что если бы не луна, люди ночью натыкались бы друг на друга, ведь света в городе нет, она смеялась и говорила: «А в безлунные ночи? Фантазерка ты, Кармалинова».

Жила Тамара Ивановна в школе, в маленькой комнатухе, где едва хватало места для стола, взрослой и детской кровати. У учительницы была совсем маленькая дочь Юлька. Мужа Тамары Ивановны мне видеть не приходилось, но говорили, что у него один глаз перевязан и он фронтовик. Не раз она оставляла меня с Юлькой, а сама в пустом классе проверяла тетради. Юлька была на редкость крикливой девчонкой, но я терпеливо нянчилась с ней.

Однажды Тамара Ивановна ушла в магазин и задержалась дольше обычного. Юлька заливалась слезами, и мои укачивания и уговоры не помогали. Я отыскала марлю, прогладила ее утюгом, нажевала хлеба с сахаром и сунула Юльке в рот. Так всегда делала мама.

Юлька моментально уснула.

Вернувшись из магазина и увидев, что Юлька сосет пустую марлю, Тамара Ивановна рассердилась и не стала больше приглашать к себе.

В последний день перед весенними каникулами Тамара Ивановна вошла в класс, лицо у нее было грустное. Она раздала табеля и объявила, что уроков не будет. Мы шумно обрадовались и стали собираться домой. Тамара Ивановна подозвала меня и тихо произнесла:

— Юлька заболела, Нужны лекарства. У тебя есть свободное время?

Я поспешила взять рецепт и, не мешкая, побежала в аптеку.

Светило яркое солнце. После долгой зимы снег растаял, и асфальт казался необычно черным. На нем четко проступали ветвистые трещины, и, как я ни старалась, не наступить на них было невозможно. Ведь если ступишь на трещину, будет беда — или двойку получишь, или не миновать от матери взбучки.

И нужно же было такому случиться — на главной улице⁴ продавали сахарную вату. Это такое лакомство! У меня хранились в заветном месте двадцать копеек. Решила: расходую деньги Тамары Ивановны и сразу же вложу. Шла в аптеку и наслаждалась — вата таяла во рту. У окошка, где получают лекарства, развернула рубль с оставшимися копейками и, к своему ужасу, не увидела рецепта. Лихорадочно стала думать, где могла потерять, наверное, когда стояла в очереди и разворачивала рубль, рецепт выпал. Что было сил помчалась к тому месту. Но там уже ни продавщицы, ни покупателей. Облазила все уголки, развернула все валявшиеся бумажки... Снова побежала в аптеку, умоляла дать лекарство. Женщина в окошке спрашивала, что болит у ребенка, а я ничего толком не могла сказать.

К учительнице идти я побоялась. И даже матери о потере рецепта не решилась сказать. Ночью спала тревожно, ведь учительница мне поверила. Как я объясню все Тамаре Ивановне? Да после этого и в школу идти страшно. Хорошо еще, что каникулы начались.

⁴ Центральная улица Хабаровска: ул. Карла-Маркса

Еще раз пересчитала деньги — все ли вложила? Ворочалась, думала, что ей скажу. А может, сказать, что лекарств нужных не было, ведь случается такое. Помню, Люда заболела, так мама обегала все аптеки, больницы, лекарств нигде не было. И все-таки для меня было пыткой, когда в окна пробился тихий рассвет: нужно на что-то решаться.

Опершись на завалинку, я равнодушно смотрела, как вокруг с визгом носилась ребятня. Попробовала было отвлечься, стала вместе со всеми играть в прятки, но веселья во мне не было. А утро выдалось такое хорошее: щебетали птицы, от взошедшего солнца заблестели красным стекла окон на соседних домах, и воздух такой свежий, весенний, что смеяться бы да радоваться. Нет, я больше не могла. Решившись на все, я побежала в школу.

Я обошла школу вокруг и осторожно постучала в окно учительницы. Потом долго стояла у двери. Загремела щеколда. Тамара Ивановна была в домашнем халате, видно, спала — лицо помятое, некрасивое, волосы взлохмачены, она на ходу приглаживала их. Увидев, что это я, переменилась в лице. Почти враждебно спросила:

— Где лекарства?

— Потеряла. Рецепт потеряла.

— И ты чуть свет ломишься в школу, будишь людей. А что ты вчера думала?

Я опустила низко голову и, почему-то вздрагивая, протянула деньги.

— Мне не деньги, а лекарства нужны, — перебила она резко. И еще что-то говорила.

Уже в очереди за хлебом я подумала, почему она сказала «в такую рань». Да ведь хлеб еще не продают, магазин не работает. Значит, действительно рань, а я не заметила... Пыталась вспомнить, что она еще говорила, и видела только сонное, чужое лицо совсем не моей учительницы.

Позже от Азы я узнала, что Юлька выздоровела, но это меня не успокаивало. Я не боялась, что учительница вызовет мать и нажалуется. Виновата — пусть наказывают. Мне казалось, что между мной и Тамарой Ивановной встало что-то такое, что никогда не пройдет, не исчезнет. После каникул, придя в школу, старалась не смотреть на учительницу. Она другим прощала и двойки, и опоздания, и пропуски, мне же ничего не спускала. И учиться мне совсем расхотелось.

Как-то Тамара Ивановна дала задание нарисовать древнюю Москву, какой она была при Юрии Долгоруком. Рисовала я плохо. Только дощатые домики с печной трубой и заборы. А тут вдруг пришло вдохновение — на листе получилась Москва с церквями, особняками, соборами, с голубым кольцом Москвы-реки. Трудилась я усердно. Но чего-то на рисунке не хватало. Тогда к каждому дому я нарисовала алый флаг с серпом и молотом. Москва стала праздничной, точь-в-точь как до войны на Первое мая. Такой я видела столицу в киножурналах и была в восторге от своей работы. Впервые не шла, а бежала в школу в ожидании того, что наконец-то учительница улыбнется и оценит мои старания. Но она, как мне показалось, насмешливо осмотрела мой рисунок. Я вытянулась из-за парты, наблюдая за движением руки учительницы. Тамара Ивановна решительно провела красным карандашом крест-накрест. Я не поверила своим глазам: передо мной лежала моя древняя первомайская Москва, жирно перечеркнутая, а под рисунком стоял огромный кол.

Дома мама взяла у меня из рук рисунок, долго его рассматривала, потом надела телогрейку и с рисунком пошла в школу. Не знаю, какой разговор состоялся там, но после него учительница не стала вообще замечать меня. Да и мама вернулась расстроенная.

Брат все еще служил в армии, и мама сетовала, что со мной некому заниматься, только этим она и объясняла мою невысокую успеваемость. По правде говоря, я не знала, что такое заниматься по-настоящему. Теряла веру в то, что вырвусь из числа троечников. И все-таки еще раз попыталась доказать, что заслуживаю большего.

К концу четверти Тамара Ивановна собиралась выставлять отметки по чистописанию. Я еще ни разу не получала четверку за домашние задания по этому предмету. Единственный в доме стол, за которым я занималась, был так высок, что приходилось водить подбородком по краю его. Конечно, можно было что-нибудь приспособить для удобства и писать не как «курица лапой». Но я ленилась. На этот раз я достала старую

кастрюлю, поставила ее на табуретку вверх дном, застелила мешковиной и взобралась, на это сооружение.

За окном во дворе сыро. Бились, путались в ботве желтые листья тополей. Мать готовила ужин и вполголоса напевала «Рябину». От пылающей печки вкусно пахло овсянкой.

Несколько раз в окне показывалось лицо Кольки, вызывавшего меня на улицу, но я не обращала на него внимания. Добросовестно выводила буквы, ровненькие, чистые — такие, как пишет Тамара Ивановна. Когда работа была закончена, я совсем забыла о кастрюле, спрыгнула со своего сооружения, ручка дрогнула и на середину листа упало чернильное пятно. На мое громкое «ах!» прибежала мать — сокрушалась, осторожно прикладывала промокашку к кляксе. Она подтвердила, что буквы написаны безупречно. Потом сварила крахмал из очисток, аккуратно отрезала квадратик из бумаги и заклеила кляксу. Переписывать я все равно бы не смогла — не хватило бы терпения.

В дверь кто-то неуверенно постучал. Мать отворила, и появился Колька. Он стоял на пороге и молча, глазами, звал на улицу. Мама сказала:

— Проходи, Коля. Маринка кляксу поставила. — Он будто и не слышал, стоял, насупившись и переминаясь с ноги на ногу.

— Чего звал? — недовольно спросила я. Колька передернул плечами, устоялся в угол на умывальник. Когда мать вышла в коридор, не глядя мне в глаза, он произнес:

— Моя мама замуж вышла. Верка и Надька зовут дядю Фому папкой. А я отказался. — И только тут я заметила, что он в тонюсенькой рубашонке и весь синий от холода, а плечи дрожат. Потщила его за руку к печке, усадила на табуретку.

— Ты сбежал из дома? — догадалась я.

— Нет, еще не сбежал. Сбегу, — твердо ответил он. Но тут вошла мать, держа в руках охапку дров.

— Топить-то нечем. Вот последние собрала, надо бы за углем на вокзал сходить.

Колька было поднялся. Мне хотелось ему как-то помочь, попросить мать оставить у нас Достань Воробушка, а угля я хоть сколько добуду.

— Не спеши, Коля. Сейчас ужинать будем, — спокойно произнесла мать.

Она подбросила в печку дров и стала разливать по тарелкам белый кисель из овсянки. До чего вкусный! Мы сидели вдвоем за столом, уминали за обе щеки. Кисель заменял и хлеб, и суп, и кашу.

Мать, видно, знала все о тете Насте и по-матерински назидательным тоном заговорила:

— Коля, вот подрастешь и поймешь, как тяжело одной матери с вами. Она вам только добра желает. — «О чем это она?» — подумала я. Но мать продолжала: — Дядя Фома хорошо зарабатывает, поможет ей поднять вас на ноги. И ты старайся не перечить.

Колька перестал есть. И я возмутилась: моя мать такая умная, не то что тетка Настя, а говорит глупости. Да я так же, как Колька, готова всю жизнь воду из колодца таскать, но не стерплю, чтобы чужой дядька в доме жил. И чтобы я называла его «папа».

— Я себя прокормлю, — вытирая рукавом рот, твердо произнес Колька.

Мать ничего не ответила. Задумалась, но тут раздался стук в дверь и послышался шум в коридоре. Дверь распахнулась, на пороге появилась разгневанная тетя Настя.

— Вот он где шляется! Я голову потеряла, разыскиваю, а он сидит чаевничает. На чужие корма перешел, — она решительно направилась к сыну. Того словно ветром сдуло с табуретки. — Супротивничает. А чем, спрашивается, я эту ораву кормить буду? Все жрать хотят.

— Не буду я его хлеб есть, — упрямо отозвался Колька с порога.

Опустившись на табуретку, на которой только что сидел Колька, тетя Настя запричитала:

— Не щадит, не жалеет меня. Смотрит на Фому как волчонок. Подумал бы, дурья голова, что без дяди Фомы в войну не выжили бы. А я меж двух огней мечусь.

Меж каких огней металась тетя Настя, было непонятно. Да и настроение матери резко переменялось.

— Иди, Коля, домой, — неожиданно сказала она и шикнула на меня: — Что уши развесила? Зажигай лампу, стели постель.

Я зажгла керосиновую лампу и прошла в темную холодную комнату. Из кухни доносились голоса: «Фома мне не чужой. Вы-то, бабы, одни остались, мужики в земле сырой лежат. Завидуете мне».

Послышались шаги. Мать плотно закрыла дверь. Голоса затихли, но по интонации можно было догадаться, что мать в чем-то убеждает тетю Настю, та оправдывается, потом послышался ее плач. О чем она? Хоть бы скорей уходила.

Тусклый свет лампы едва освещал пустую комнату, не достигая углов, они были так черны: спрячься в них бандиты — не увидишь. Расстилая постель, я заметила, что стою как раз на квадрате крышки подполья. А вдруг и у нас кто-нибудь сидит там? При этой мысли меня прошиб озноб.

С трудом преодолевая страх, попятилась к двери, не спуская глаз с крышки подполья. Не выдержав, в последнюю минуту выскочила как ужаленная и столкнулась в дверях с Людмилой. Равнодушно глянув на меня, она невесело усмехнулась:

— Все еще боишься? Я тоже этого чертова подполья боюсь. — И уже серьезно: — Тебе забавы, а меня вот в ФЗО забирают.

Эта весть, что Люда будет учиться в школе фабрично-заводского обучения, расстроила мать. Хотя выхода другого не было. Многие старшекласники шли в ФЗО — форма, питание там бесплатные. Мать, вздыхая, собирала сестру на завод, примеряла на нее братову спецовку, подшивала рукава.

С утра, когда чуть свет ушла на завод Люда, а за ней и мать — стирать белье, я скорей — к завалинке.

Танцую и видя все свои движения в окне, я думала, как хорошо, что у меня есть такое прекрасное окно. Это же надо, словно кто-то специально создал зеркало и завалинку для занятий. Везет же мне! Замечательное окно, думала я, напевая и высоко взлетая в легком прыжке. Очень довольная, я глянула на свое отражение в стекле и застыла — из окна пристально смотрели на меня две точки блестящих незнакомых глаз. Мы встретились взглядами. В ту же секунду глаза исчезли, штора опустилась, а я так и стояла окаменелая. С трудом придя в себя, рванулась к своей двери и спряталась на кухне.

Да ведь с самого начала я заметила что-то неладное в окне, штора была отогнута! Кто-то чужой подглядывал за мной. Нет, не Алка, не тем более дядя Миша — это исключено. Откуда же взялся этот?

Осторожно выглянув из двери и увидев, что штора висит как ни в чем не бывало, я крадучись пересекла свой дворик и пулей — в общий двор. На крыльце Немировских сидела Алка и беспечно уплетала яблоки. Калитка в дом Мячиковых была открыта. Кольку я застала в коридоре. Он сопел над цветами, связывая их в букетики.

— Колька, в окне Немировских кто-то за мной следил, — выпалила я.

— Как следил? — не понял Достань Воробушка.

— Чужой. Глаза, как у волка, блестят.

— Может, показалось? Откуда он взялся? — недоверчиво протянул Колька.

— Что я, слепая? Танцую, а он подсматривает. Я на него ка-а-к гляну — он исчез, спрятался.

Колька забросал меня вопросами. Мы, торопясь и перебивая друг друга, стали обсуждать случившееся. Кто бы это мог быть? Колька расспрашивал о незнакомце, а я толком ничего не могла ответить. Но заметила, что голова у него была обвязана белым.

— А может, это «черная кошка»? Переодетая, — предположил он.

Завороженная догадкой Достань Воробушка, я вновь вспомнила о человеке, жившем в подполье, о котором рассказывали женщины. О своих подозрениях — не живет ли у нас такой же. Но не стала распространяться о том, что сестра все-таки спустилась в

подполье, ничего не обнаружила и высмеяла меня. А Колька, возбужденный моим рассказом, сыпал вопросами:

— Ты не замечала, что продукты у вас исчезают? А за крышкой подполья ты хорошо следила?

Кольку я не узнавала — серые глаза его сначала тревожно бегали, потом в них появилась решимость. Он заявил, что, наверное, ворюга живет у Немировских. А те или не догадываются, что у них поселился тайный жилец, или все это сделано по договоренности с обеих сторон.

Мы выглянули из своей засады. На крыльце Немировских было оживленно. «Виллис» уже стоял у калитки, и навстречу дяде Мише бежала Алка с яблоком в руке.

Немировские сознательно скрывают дезертира! А если это так, мы должны вывести их на чистую воду. Мы с Колькой решили все хранить в строгой тайне и установить наблюдение за домом Немировских.

Жизнь для нас наполнилась новым смыслом. Мы обнаружили дезертира. «Вот будет разговор! Да ведь еще по чистописанию, — вспомнила я, — Тамара Ивановна мне обязательно пятерку поставит, и все в классе удивятся».

Первые три урока я с нетерпением ждала последнего — чистописания. С достоинством поглядывала на учительницу — вот уж я удивлю ее. Украдкой бросала взгляды на красиво исписанную страницу и отводила глаза от желтого квадратика.

— Это что? Заплата в тетради? -- громко, на весь класс спросила Тамара Ивановна, и длинным ногтем стала отклеивать бумажный квадратик. Увидев кляксу, сказала:— Неряха ты, Кармалинова. Не можешь без клякс. Но за усердие ставлю четверку.

Четверка мне не в радость — учительница все-таки отчитала меня. Ведь, по правде говоря, я ради нее старалась. Тот случай с рецептом не давал мне покоя, и я не знала, как оправдаться перед учительницей. Ну что бы такое сделать заметное, чтобы она улыбнулась и сказала бы тепло, необходимо: «Фантазерка ты, Кармалинова». Но ничего, я еще докажу. Выследим с Колькой дезертира, доставим куда следует — об этом узнает вся школа. И Тамара Ивановна убедится, что я не такая уж легкомысленная девчонка.

Мне не нужно было, как Кольке, охранять дом Немировских. Достаточно прогуливаться по своему дворику и через изгородь наблюдать за крыльцом соседей. Кольке это делать немного сложнее. Дома Немировских и Мячиковых разделяла проезжая часть двора, и Колька должен был придумывать себе занятие. Сначала он просто так сидел на заборе. Это ему надоело, тогда он стал рыть канаву близ штакетника Немировских. В конце концов Колька объявил, что никакого неизвестного не существует и я выдумщица. Хоть мне и обидно слышать такое, но неизвестный как в воду канул. А может, действительно показалось...

С трудом преодолевая страх, я стала вновь подходить к своему «станку». Даже испытывала себя, свое мужество: чаще обычного останавливалась около окна, правда, когда был рядом кто-то из взрослых, вглядывалась в темноту стекла. Но не решалась вернуться к репетициям.

В конце концов мне надоело из-за какого-то дезертира попусту тратить время. И я решила снова начать репетиции. Натянув тапки, вышла в дождь. Сырые доски тротуара были скользкие, но это меня не смущало.

«Как лебедь должен погибнуть? Он, наверное, на прощание будет смотреть в небо, как Серая шейка, рассказ о которой нам читала Тамара Ивановна. А крылья уже слабые, и голова поникла», — думала я, безвольно кружась на месте. В «зеркале» это движение получалось плохо, и я начала все сначала. Но что это? Та же пара глаз, но уже смеющихся, смотрела на меня из «зеркала»! Штора быстро опустилась.

На этот раз Достань Воробушка, глянув на мое лицо, видно, окончательно поверил, что в доме Немировских кто-то скрывается. Да и я могла более подробно рассказать о внешности незнакомца. Был он в белом, и голова перевязана. Мы пришли к выводу: «Коль

незнакомец не прячется от чужих глаз и нахально смеется, значит, живет с ведома хозяев. Но почему Немировские прячут его?»

— Пойдем заявим, — потребовал Колька. Потом передумал: — Вот как собственными глазами увижу, заявлю.

Мы пристально стали следить за поведением Алки, но ничего подозрительного не обнаружили. Проникнуть внутрь дома Немировских не было возможности. Злющая овчарка Пуля никого не пускала, детвору в их доме не принимали, вот разве в день рождения Алки, но до этого дня было далеко.

Двор наш жил обычной жизнью, если не считать одного события: наконец-то прибыли новые жильцы в пустовавшую квартиру Фаины. Надо сказать, таинственная это была квартира. Располагалась она в большом доме с верандой. По вечерам, когда заходило солнце, стекла окна, — а в единственной ее комнате было два окна: одно выходило на улицу, а другое смотрело во двор, — и вот стекла того окна, что выходило на улицу, при заходящем солнце вспыхивали то фиолетовым, то красным, словно в комнате был пожар. Рядом окна Крупенькиных, Нестеровых, сестер Каримовых были тусклые, а это угловое, Фаиного, ну прямо полыхало. Так было, когда жила Фаина, так было и после ее отъезда. Квартира пустовала, дверь была заколочена досками крест-накрест. Да хоть и не заколочена, после того, что произошло в этой квартире, никто из тех, кто знал, не захотел бы здесь жить.

часть 2

Случилось это полгода назад. Фаина, устроившаяся официанткой в ресторане, оставляла своего пятилетнего сына Альбертика взаперти одного. Надо сказать, мы, дети, по-своему немножко завидовали тому, как одевала Фаина сына: его белоснежной рубашке с бантиком в горошек, брючкам со стрелками, а Алка с ним даже нянчилась временами. Во всем дворе одна Фаина, когда хотела, заходила к Немировским. Говорили, что до войны муж Фаины — Сергей Иванович дружил с дядей Мишей, и они часто собирались семьями. Сергея Ивановича — человека интеллигентного, очень уважали у нас во дворе и гордились им, когда он с первых дней войны ушел на фронт и стал большим командиром. Но письма от него почему-то приходиться перестали. И Фаина недолго его ждала, частенько ее провожали какие-то шумные люди, и допоздна раздавались из ее окон смех, звон стаканов и песни. Все осуждали поведение Фаины. Моя мама жалела ее, советовала найти для Альбертика няню, Фаина же махала рукой: «Он у меня привыкший».

Мальчик сидел целыми днями один, закрытый на замок. И случилась беда. Фаина вернулась, как обычно, из ресторана поздно и уже не застала сына в живых: он угорел. Как потом стало известно, Фаина в то утро тоже чувствовала себя плохо, но не поняла, в чем дело. Альбертик спал за ширмой. Она будить его не стала, с трудом приготовила ему поесть, а сама отправилась на работу.

Я помню, как всем двором несли Альбертика в госпиталь на площадь Свободы, как по первому Алкиному телефонному звонку туда примчался на «газике» дядя Миша Немировский и, сжав руками виски, согнувшись, сидел над Альбертиком, которого уже накрыли простыней.

Фаину отхаживали всем двором, а она кричала, твердила одно и то же: «Это я погубила Альбертика. Что скажет Сергей?» Фаина исчезла из нашего двора неожиданно и тихо. Куда — никто не знал. Уже полгода дверь ее комнаты оставалась заколоченной, и вот сегодня в нее вселяются новые жильцы.

А все-таки хороший у нас двор, дружный. Все, кто был свободен, вышли помогать новым соседям. И никто не намекнул на то, что произошло в этой комнате. Мне и Достань Воробушку очень хотелось проникнуть в бывшую комнату Фаины. Но новая соседка — бабуся с двумя черными, как спелый паслен, бородавками, велела ставить табуретки в коридоре, узком, полутемном. И все-таки Колька, уловив момент, заглянул в комнату.

Подросла и я. Ничего особенного мы не увидели. Покрытый густой пылью пол, подоконники, пустующие углы, вот только ширма. На створках ее нарисованы японки в кимоно и с веерами. Ширма была развернута на всю длину и прикрывала угол. Озноб пробежал по спине — вновь вспомнился Альбертик.

Я тоже угорала. Об этом даже вспоминать тяжело. В то утро проснулась от удушья, будто кто-то придавил мне голову подушкой. Но когда приоткрыла глаза — никакой подушки не увидела, а воздуха не хватало. Попыталась подняться, ноги подвернулись, и я грохнулась на пол. Сначала мне было даже смешно, ведь такого состояния, чтобы не иметь сил стать на собственные ноги, я никогда не испытывала. Пол был холодный, это приносило облегчение. Я прижималась к прохладным доскам пола и чувствовала, что они согреваются и начинают жечь. Пробую подняться и падаю. Как я выползла на улицу — не помню. Знаю, что уже лежа в снегу, кричала что было сил: «Помогите!»

Меня спасло то, что дверь была открыта, а Альбертик сидел один взаперти, и кровать его стояла у самой печки. Эти мысли моментально пронеслись в голове, когда мы увидели пустую детскую кровать за ширмой.

Из забытья вывел голос бабуся с бородавками-пасленами.

— Несите, дети, книжки. Толик, сын, у меня школу военных техников заканчивает, железнодорожником будет. Сейчас на учениях. Спасибо вам, милые, что бы я без вас делала?

Кто-то в коридоре успел вкрутить лампочку, и при слабом свете мы увидели дверь, обитую настоящим дерматином. Колька, обхватив красными от мороза руками стопку книг, легко толкнул меня и указал глазами на дверь: смотри, мол, какая богатая дверь. И правда, хоть и по углам кое-где дерматин стерся, выпали кнопки, но, видно по всему, оббивали ее еще при хорошей, довоенной жизни. В таком пропыленном, запущенном коридоре и такая дверь. Металлические большие кнопки так и блестели, а там, где кнопки выпали, у дверной ручки, образовался карман, туда можно запрятать что угодно.

— Проверь, — приказал Колька. Я запустила руку. Неожиданно дверь изнутри с силой распахнулась, я едва удержалась на ногах, крепко ухватившись за карман, так что затрещал дерматин.

— Ой, прости, доченька, — запричитала бабуся.

— Ничего с Маринкой не делается, — важно сказал Колька, передавая новой хозяйке книги.

— Колька, гляди! — У моих ног лежал конверт, выпавший из оторванного куска дерматина. Достань Воробушка покрутил его в руках. Видно, оно долго гуляло по почтам, в руках многих людей побывало, прежде чем оказалось в этом дерматиновом ящике, а сколько здесь пролежало — неизвестно. На конверте фамилия «Гармышева», а имя, отчество «Файна Алексеевна». Не Файна ли это? А кто же еще! Улица, номер дома, квартира — Фаинины.

— Прочтем? — шепнул Колька, спускаясь по лестнице и сжимая письмо.

— Ей в руки отдать надо, — ответила я, а сама сгорала от желания поскорей узнать, что в письме.

— А где ты Фаину найдешь? Читай. — Уговаривать меня долго не надо было. Вещи уже сгрузили, перенесли. Машина уехала. Мы спрятались от ветра на веранде, немножко, для очистки совести, поспорили, вскрывать конверт или не вскрывать, и углубились в чтение.

«Любимая моя Фая, дорогой мой сынок Алик, здравствуйте! Простите, что давно не писал. Не удивляйся, хорошая моя, что незнакомый почерк. Как ты можешь догадаться, нахожусь в госпитале. Обо всем расскажу при встрече. А она обязательно состоится. Доктора сказали, что основательно меня будут лечить в Хабаровске, — я очень об этом просил. Даже на специальном самолете повезут. Верю; одно ваше присутствие даст мне силы и здоровье. Михаил — спец в своем деле, он меня подлатает. Самое страшное осталось позади, если бы ты знала, родная, из какого пекла я выбрался. Я жив, увижу вас. Любимая, береги сына. Представляю, какой он большой вырос, скоро в школу пойдет, и я всегда буду

рядом. Помнит ли он своего папку? Через неделю-другую буду дома. Ни о чем не думай, дорогая, только жди». Я тебя люблю как никогда. До встречи, мои хорошие. По прибытии дам о себе знать. Ваш Сергей».

Значит, он должен приехать. А может, уже здесь, в Хабаровске. И ни о чем не догадывается. «Помнит ли своего папку?» Какой для него удар. Где искать Фаину? Сообщить бы ему, что уехала его жена. А куда сообщать — обратного адреса-то нет. Да уж и получить не успеет. Хотя бы узнать, кто такой Михаил, который должен подлатать Сергея Ивановича, и ему бы сообщить, но фамилии его не указано. Ясно одно: Сергея Ивановича нужно обязательно навестить. Ведь он жену ждет, волнуется. А к нему никто не идет. Он специально в Хабаровск приехал и будет как в чужом городе, а у него ведь соседи есть. Если не мы, то кто же его навестит? А мы успокоим, чтобы лечился нормально.

Столько дел сразу обрушилось на нас с Колькой. Первое и главное — нужно идти в госпиталь. Не мешкая, мы разбежались по домам. Я натянула валенки, мамину шаль. В белую тряпочку завернула передачу — кусочек хлеба,— так полагается, когда идешь к больному.

Первым делом мы отправились на площадь Свободы в военный госпиталь. Там нам сказали, что Гармышев — такая была фамилия на конверте — в списках не числится. Надо было идти па улицу Серышева. Там, у Амура, располагались госпитали.

Мы шли мимо покосившихся, вросших в землю домиков, стоящих по краю Чердымовки⁵. Мост через Чердымовку обледенел. По нему было опасно проходить: много лет его не ремонтировали. А вот и зияющая щель, из-за которой прошлым летом я сильно поранила ногу. Мама, я и Люда ходили в баню. Я первый раз надела тряпочные новенькие тапочки. Они были великоваты, но я радовалась им безмерно. Шла вприпрыжку, любуясь тапочками. И так крутилась, что на полном ходу угодила ногой в большую трещину и застряла. Закричала дурным голосом, но не потому, что почувствовала боль. Я увидела, как из-под моста вынырнул мой тапочек, поплыл по Чердымовке. Зачерпнул воды раз, другой и стал тонуть. Ногу сдавило как в тисках, я сидела на мосту, неудобно подогнув другую, и ревмя редела. Вместо того чтобы выловить мой тапочек, мама и Люда принялись вытаскивать меня, и тут пришла жгучая боль. Собрались люди. Старик с палкой сердито сказал:

«Вот просидишь здесь до ночи, попрыгунья, а ночью русалки тебя в Чердымовку затащат». Я даже захлебнулась от слез. «Да не пугайте ее, дедушка, — накинулась на него Людмила. — А ты попробуй сама вытащить ногу. Ну, поднимайся на руках!» Но этого сделать не удалось — в кожу впивались щепки, занозы. И тогда мама, встав на колени, стала отрывать соседнюю доску.

Все это я рассказала Кольке, осторожно обходя ту дыру на мосту.

— Провалилась? На тебя это похоже.

— Мама штук двадцать заноз вытащила из ноги. А тапочек утонул. Новенький. Потом искала его, но он, наверное, в Амур уплыл.

Колька расхохотался, будто ему смешинка в рот попала.

— Уплыл? Что он, пароход или лодка, твой тапочек? Но когда мы подошли к воротам госпиталя и остановились у проходной, Достань Воробушка посерьезнел:

— Я не пойду к нему в палату, иди ты. Пока я его упрашивала, открылось окошко в проходной, и женщина в тулупе спросила:

— Что надо, ребята?

— У вас лежит больной Гармышев Сергей?

— В каком отделении?

Я пожалала плечами. Потом женщина в тулупе звонила. Звонила она долго.

— Такой не поступал, — наконец ответила она нам и захлопнула окошечко.

⁵ Чердымовка – речка, впадавшая в Амур и протекавшая между двумя сопками, по вершинам которых тянутся теперь центральные улицы г.Хабаровска Муравьева-Амурского и Серышева. В настоящее время на ее месте расположен Амурский бульвар.

Мы обошли все приемные покои на улице Серышева. И везде говорили «не поступал», «не значится», Мы уже потеряли всякую надежду, но в зеленом домике на пропускном пункте нас встретила добрая женщина, расспросила. И когда я объяснила, что мы соседи, получили письмо, а он фронтовик, только из-за жены приехал долечиваться в Хабаровск, она посоветовала: «Сходите на Шевченко, там, напротив Дворца труда госпиталь».

— Уже давно должен быть в Хабаровске. Письмо шло месяц, неизвестно, сколько в обшивке двери пролежало, — размышлял Колька. — И нигде нет. Сколько их, раненых, все госпитали забиты. Дня мало, чтобы найти.

Я сжимала в кармане похолодевший кусок хлеба, приготовленный для дяди Сережи.

— Не хочешь, уходи. А я еще на Шевченко загляну. Но Колька плелся за мной.

В приемном покое было полно посетителей, И я едва пробилась к окошку. Только хотела спросить и вдруг увидела через стеклянную перегородку дядю Мишу Немировского. В белом халате, шапочке, он шел в сопровождении врачей и одному из них что-то настойчиво доказывал. Вот это да! Настоящий доктор! Я пригнулась, чтобы он меня не увидел, — этого только не хватало. А когда шаги затихли, снова выглянула.

— Чего тебе, девочка? — спросила женщина в окошке.

— К вам привозили раненого Сергея Ивановича Гармышева?

— Когда поступил?

— Не знаю.

Она стала рыться в журналах, говоря:

— Фамилия знакомая. Где-то был. А! Это подполковник в тяжелом состоянии. А тебе зачем он?

— Он жене письмо написал, а жена уехала и письмо не получила.

— А ты кто?

— Соседка. Соседка по общему двору. Понимаете, его жена уехала из нашего двора, а он ждет ее, — добросовестно объясняла я. Но она недоверчиво прервала:

— Среди наших больных не значится. Следующий. Я еще раз заняла очередь к окошку.

— Тетя, я интересуюсь Гармышевым.

— Я же тебе сказала, был, а сейчас нет его в списках. Может, в другой госпиталь перевели.

— Может, и вправду в другой госпиталь перевели. А если он здесь, то снова сообщит о своем местонахождении и тогда уж точно будет известно, что он в Хабаровске, — размышлял Колька. Он весь посинел, замерз. В письме так и сказано: «по прибытии дам о себе знать». Значит, еще одно письмо будет. — При этом Колька что-то жевал. Хоть я и успокаивала себя, но меня не покидала тревога, что вот лежит в одном из госпиталей фронтовик, ждет жену, она не идет... А может, он умер от ран? Нет, не может быть такого, врачи не дадут ему умереть.

На улице Карла Маркса завывал сухой колючий ветер, по асфальту как бешеные крутились снежные языки. Я сильно куталась в платок. Нащупав в кармане пайку хлеба, пролезла рукой и, развернув тряпочку, стала отщипывать по маленькому кусочку. Сегодня хлеб дяде Сереже уже передать не смогу. А в следующий раз, как только получим письмо, подкоплю побольше хлеба...

Но и через день, неделю, месяц письмо от дяди Сережи не пришло.

Темнело теперь рано.

Как только черное небо низко опускалось на наш двор, в домах зажигали керосиновые лампы. А чтобы понапрасну не жечь керосин, рано укладывались спать.

На перемене Тамара Ивановна объявила, что школа готовится к смотру художественной самодеятельности, и повела нас в учительскую. К своему удивлению, мы увидели черное пианино. Никто из нас и не догадывался, что в школе есть такой

удивительный инструмент. За пианино сидел худенький мужчина в черном поношенном костюме и держал в руках палочку.

— Ну, здравствуйте, — сказал он. — Кто первый? Ну. Задача такая: я буду стучать — вот так, — и он несколько раз стукнул по крышке пианино, — а каждый из вас возьмет вот эту палочку и повторит.

Его привычка повторять без всякой необходимости «ну» нам не понравилась. И мы, не сговариваясь, сразу же дали ему прозвище Нукалка. Он стучал палочкой каждый раз по-разному, слушал, как повторяет ученик, потом говорил: «Можете быть свободны». Когда очередь дошла до меня, он спросил фамилию и почему-то задания постучать палочкой не дал, а сразу сел за пианино. Я повторяла за ним несколько раз «до-ре-ми-фа-соль-ля-си». Затем музыкант повернулся к Тамаре Ивановне и сказал:

— Ну, кажется, это то, что нам надо. — Учительница согласно кивнула. — Что ты можешь петь? — спросил пианист.

Я не стала долго думать и запела «Рябину». Других песен я не знала.

В учительской стало тихо, даже сидящие в уголке две учительницы оторвались от тетрадей, слушая. «Как бы мне, рябине к дубу перебраться, я б тогда не стала гнуться и качаться», — с печалью выводила я. И тут увидела грустную улыбку Тамары Ивановны.

— Ну что ж, хорошо, — сказал Нукалка. — Но чтоб я эту песню не слышал. «Рябина» не для детей, — решительно добавил он. — Ты будешь запевать другую песню. Этого я не ожидала. Я думала, что Тамара Ивановна будет возражать, но учительница дала мне текст песни и сказала:

— Не подведи, Кармалинова.

Так я стала запевалой. Школьный хор огромный, человек сто. Репетировали в коридоре, все были в пальто, девочки в платках, и издали хор напоминал черную бесформенную толпу. В перерывах все чуть ли не на головах ходили, а Тамара Ивановна, которая была неотлучно при хоре, словно и не замечала, как мы озоровали. Все бы ничего, но почему нельзя петь «Рябину»? Ведь песня эта о грустной жизни деревьев. Набравшись решимости, я окликнула учительницу:

— Тамара Ивановна, «Рябина» такая хорошая песня. Почему мне ее нельзя петь?

— Видишь ли, — подбирая слова, медленно сказала она. — Рябина здесь как бы в иносказательном смысле. — Но, чувствуя, что я не понимаю, добавила обычное: — Подрастешь — узнаешь.

Но в ее голосе я не уловила обычной холодности.

На репетициях мы прогоняли песню шесть раз. Мне ничего не стоило выучить слова. Но вот волнения в себе я подавить не могла, такого со мной в нашем дворовом хоре не было: голос дрожал, во рту сохло. В каждую свободную минуту бегала к бачку, пила холодную воду с льдинками. Тамара Ивановна поймала меня за руку и сердито произнесла:

— Марина, ты же простудишь горло. Разве можно пить такую холодную воду! — Первый раз она назвала меня Мариной, и я порывисто ответила:

— Ничего не случится, Тамара Ивановна, вот посмотрите.

Но на второй день репетиции голос свой я не узнала: хрипела, давала петуха, как Колька Мячиков. Нукалка сердился, я видела, как Тамара Ивановна о чем-то тихо просила его, а он раздраженно говорил:

— Ну, нет-нет, нужно искать другую кандидатуру. Я должен сдать песню через две недели.

Тамара Ивановна, наверное, меня защищала, но музыкант отстранил меня от репетиций. Было горько, что я снова ее подвела. А тому, кто будет запевалой вместо меня, не завидовала. У меня остается мой балет и неизвестный в доме Немировских.

Ждать новой встречи с ним пришлось недолго. Я набирала воду в колонке, когда из нашего двора выскочил Колька и с ураганной скоростью побежал ко мне.

— Я этого видел, что в доме Немировских. — От неожиданности у меня выскользнуло ведро, вода залила ботинки.

— Ну! Какой он? Вот видишь, а я что говорила!

Колька кинулся поднимать ведро и снова наливать воду.

— Дядя Фома велел мне грядку, где лук-батун, пометить колышками, вот я и торчал на огороде. Слышу, Тунгус загавкал. Я кинулся за ним, а он выскочил из-под ворот Немировских и как заскулит. Вижу, закрутился и лапу лижет. Этот его, наверное, камнем ударил.

— А почему ты думаешь, что это он?

— Немировские гусей кормили. Ну и Тунгус к ним подобрался под изгородь — он там яму вырыл. Алка его не бьет, только отгоняет.

Мячиков помог мне донести ведро. У ворот вдогонку бросил: «Жду на веранде».

Выливая воду в кадку, мать говорила:

— Кольку видела? Прибежал как оглашенный. Тебя спрашивал. Что у него стряслось?

— Не знаю, — схитрила я. — Пойду спрошу.

Конечно, если дезертир действительно бросил камень в нашу собаку, это еще раз доказывает: он злой и жестокий человек. И за укрывательство Немировским влетит.

— Но ты-то его видел? Какой он? — допытывалась я. Мы сидели с Колькой на веранде.

— Когда я побежал на визг Тунгуса, на крыльце стояла Алка. А он ударил собаку и ушел. Его-то я не видел, но дверь хлопнула.

— А может, это гуси щипнули Тунгуса? У наших ног лежал Тунгус и как ни в чем не бывало помахивал хвостом.

— А что, если выследить его по всем правилам разведки? — вдруг предложил Колька. — Ночью постучать в дверь, войти и попросить чего-нибудь. Ну, например, — он напряженно думал. — К примеру, вам телеграмма... А самому проскочить в дальнюю комнату и поймать его с поличным.

— Нет, Коля, не пойдет.

— Ну тогда ты заболей, — воскликнул он. — Понарошку. А я позову на помощь дядю Мишу. Когда его просят, он всегда приходит.

— Это ты заболей, А я пойду звать и выслежу дезертира, — потребовала я. Но Мячиков не хотел болеть.

— Ты артистка, тебе легче представиться. А я никогда в жизни не болел. Как же я охать, стонать-то буду? — убеждал он.

Уже спустились сумерки. Сильно похолодало, поднялся ветер. Хотя на веранде было тихо, Тунгус исчез, наверное, замерз и побежал греться. В окнах зажглись огни. И над крыльцом Немировских вспыхнул свет. Это был единственный дом во дворе, где было электричество. Хотя Алка считалась, как и Колька, сиротой — ее мать убили в самом начале войны, когда она поехала за Алкиной бабушкой в Белоруссию, — Алка была счастливее всех, так мы всегда думали.

— А что, если проникнуть к ним, когда дяди Миши нет дома, при Алке? — задумчиво сказал Колька.

— Это было бы здорово, — подтвердила я. — И зачем откладывать? Дяди Миши сейчас нет. Иди! От неожиданности Мячиков оробел.

— Иди! — настойчиво повторила я. — Сколько мы будем возиться с этим дезертиром?

Колька долго собирался с духом, потом решительно запахнул телогрейку и медленно направился к дому Немировских. Незаметно для Кольки я проскользнула вслед за ним и притаилась, чтобы и Колька меня не видел.

Громкий лай Пули, потом загоготали гуси. Они гоготали долго и крикливо. Наконец распахнулась дверь, и в ярком свете появилась Алка в вельветовой куртке, накинутой на плечи.

— Чего надо? — громко спросила она. Ответ Колькин слышен не был.

— Нет его, приходи позже. — И освещенный квадрат дверного проема исчез. Пуля еще долго гавкала.

Меня возмутила нерешительность товарища. Он, пряча глаза и прикрывая рукавом свитера нос, сказал обреченно: «Не пустили».

— Видела — струсил! — налетела я на Кольку. — Надо было прорваться!

— Что я ломиться в чужие двери буду? Неудобно.

— А им удобно перед Советской властью скрывать дезертира! Уж признайся: забоялся. Колька огрызнулся.

— Иди сама попробуй. Узнаешь.

— И пойду, а ты болеть будешь. Но смотри, чтоб как следует болел, иначе несдобровать.

Не заметить приезда дяди Миши в нашем тихом дворе невозможно. Как только по синим окнам полоснет свет и послышится близкий шум мотора, значит, во двор въехала машина соседа. Но в тот вечер «виллис» долго не появлялся. Уроки в голову не лезли, я глаз не спускала с окон. Мать где-то раздобыла дратву, подшивала валенки, сидя на опрокинутой табуретке. А я ждала и бездельничала. Неужели проморгала? Несколько раз выходила на улицу, и мать прикрикнула: «Не студи комнату». Потом прикрутила лампу. Ночью я долго прислушивалась к тишине, далекому вою собак.

На следующий день, вернувшись из школы и увидев машину, я и обрадовалась и испугалась. Не заходя домой, отправилась к Кольке предупредить, что дядя Миша дома.

Но Колька уже знал и заверил, что готовится. Особых признаков подготовки я не заметила: Колька и близнецы уплетали коврижку. На кровати сидела тетя Настя и, поплеывая на пальцы, считала деньги — тридцатки, пятидесятки. Заметив меня, она бросила на кучу денег платок, стремглаз и ушла за перегородку. Столько денег я еще в жизни никогда не видела.

— Откуда деньги? — тихо спросила я Кольку.

— За отца получили. За три года, — шепнул он.

— Тебе немного дали?

— Я не просил.

— Вот и врешь, вот и врешь, просил, — нараспев громко вмешалась в разговор Верочка. — Рубль просил.

— Ты что влезаешь в посторонний разговор? — разозлился Колька. И треснул ее по голове. Та заплакала и спряталась под столом, выкрикивая: «Шкилет, шкилет». Я напомнила ему, что как только приведу дядю Мишу, вернусь в дом Немировских и скажу Алке, что отец якобы за термометром послал: они не ожидают моего прихода, и дезертира можно поймать с поличным.

— Тысяча двести семьдесят... тысяча триста двадцать,— считала тетка Настя за перегородкой.

Коленки у меня дрожали, когда я постучала в калитку. На цепи закрутилась Пуля. Дядю Мишу я даже не узнала: в женском переднике, совсем лысый. Если бы не хмурые черные брови и начальственный вид, он был бы похож на повара. На его немой вопрос я залепетала:

— Коля Мячиков болеет сильно.

— Что с ним?

— Жар. Бредит, — эти слова я уже подготовила заранее.

— Подожди. Я сейчас, — недовольно сказал он и оставил меня в коридоре. Надо было действовать. И я решительно пересекла крашенный в желтый цвет коридор с тюлевыми занавесками на окнах, открыла тяжелую дверь, обитую кожей, и оказалась в

теплой длинной прихожей. Она прямехонько вела к двери, куда скрылся дядя Миша и откуда доносились звуки музыки, Алка, наверное, играла на пианино. Справа от меня открытая дверь на кухню — здесь, видно, собирались ужинать, на столе — салат, горкой хлеб, наполненный графии, три глубокие и три мелкие тарелки. Три!

— Ты здесь? — неожиданно раздался рядом строгий голос. Я вздрогнула. Дядя Миша снимал фартук.

Он накинул пальто с каракулевым воротником и, не застегиваясь, по пути захватил оказавшийся у его ног чемоданчик.

Тетя Настя, увидев на пороге соседа, всполошилась.

— Михаил Никодимович! Как мы рады, милости просим, Михаил Никодимович.

— А где больной? — спросил врач.

— Какой больной? — искренне удивилась мать Кольки. Я почувствовала что-то нехорошее.

— У нас, Михаил Никодимович, слава богу, больных нет, Надя и Вера спят, Фома на дежурстве, Колька в бегах где-то.

Меня как обухом по голове ударило: Колька предал!

— Ну простите. Кажется, меня разыграли. — Дядя Миша с укоризной посмотрел в мою сторону и вышел. Я готова была провалиться сквозь землю.

— Бесстыдница, — стала выговаривать тетка Настя. — Доигрались, добесились. Я вот матери твоей скажу. Где Колька? Пусть придет домой, я ему, дармоеду, покажу, где раки зимуют.

С Колькой я долго не разговаривала, поклялась не знать его совсем. Он приходил, просил прощения, говорил, что мать с этими деньгами совсем голову потеряла: его одного дома ни на минуту не оставляет, и провести ее не было никакой возможности. Но я его даже слушать не стала.

Дни проходили за днями. Я продолжала танцевать, присматривала за окном соседей, но дезертир не появлялся. Станный человек, этот дезертир. То из-за шторы нагло подглядывает за мной, в собаку камнями бросает, а то вот исчез. А может, он понял, что обнаружен, и сменил место жительства? Или Немировские отправили его в более надежное место?

Наблюдательного пункта у меня не стало — стекла окон днем сильно текли, а вечером покрывались узорчатым ледком. Пятачки, которые я пыталась отдышать, быстро затягивались. По краям подоконника повесили бутылки, когда топилась печь и комната нагревалась, по скатанным в трубочку тряпкам стекала в бутылки оттаявшая вода.

В ту ночь нежданно пришел настоящий мороз. На полу валялись бутылочные осколки — забыла вылить воду. Собирая меня в магазин, мать ворчала:

— Чем твоя голова занята? — И, пока я умывалась, она достала пальто Людмилы. Пальто было мне до пят, старое, все в ржавой клетке: пролежало вместо матраса на детской кровати.

Мне было неловко в нем показываться на люди. И мать, почувствовав это, вполголоса сказала:

— Это горюшко не горе. Лишь бы отец вернулся. Новое купим.

В этот раз мне крупно повезло — получила хлеб без очереди. Как всегда, к магазину подошла хлебная повозка. Мы стояли совсем близко, почти рукой ее трогали. Рассматривали заиндевевшие ресницы лошади, жалели ее. Я тоже подошла, хотела лошадь погладить и, не успев понять, что случилось, отлетела в сторону — лошадь со всего маху ударила меня задней ногой. Я закричала. Женщины окружили меня, стали поднимать, отвели на завалинку — я горько плакала не столько от боли, сколько от обиды. Все сочувственно смотрели на меня, дети притихли, и вдруг раздался чей-то голос:

— Чего ребенка мучить, пусть возьмет хлеба без очереди.

— Кто ее не пускает?

— Пусть проходит, — раздались голоса. Очередь расступилась, и я на непослушных ватных ногах приблизилась к прилавку.

Держа в руках теплую буханку, домой шла радостная, хотя боль в боку была нестерпимая. Мелькнула мысль — я ведь больная, в школу можно не идти. И впереди весь день.

Мать удивилась моему раннему приходу. А увидев кровоподтек, пожалела меня, разрешила пропустить уроки. Сняла с меня платье и бросила в корыто.

На душе у меня светло и хорошо. Мать ушла. В комнате чисто, тихо. На веревке над печкой сушится мое единственное платье, Завернувшись в одеяло, я сидела у окна, ждала, когда платье высохнет, поминутно стирала рукавом холодные струйки воды на запотевшем стекле. Медленно, неохотно кружились за окном снежинки. Алка с девчонками лепила снежную бабу. Снега было мало, и баба получилась косою. Во дворе из-под снега чернели залысины неуютной земли.

Вдруг я увидела человека в солдатской шинели с зеленым узким рюкзаком за плечами и железным чемоданом, уверенно, торопливо шагающего к нашему дворику. Меня обожгла догадка — отец. Что было сил я сдернула платье с веревки, она оборвалась, белье упало. Путаясь в рукавах, стала натягивать еще мокрое платье.

Отец уже стучался в дверь, а я не могла попасть в рукава. Дверь распахнулась, и я кинулась на грудь к папке. И вдруг разрыдалась, — мы так долго ждали отца. А он стоял, почему-то опустив, как плети, руки. Я подняла голову, и кровь хлынула в лицо — это был незнакомый мужчина. Я бросилась на кровать, уткнулась в подушку и, не глядя на солдата, ревела навзрыд. «Ошиблась! Чужого человека приняла за отца!» Он стоял передо мной, потрясенный, подавленный, со скорбно опущенными плечами. Потом торопливо стал развязывать рюкзак, шнурок не слушался, он зубами развязал его и протянул в огромных ладонях галеты. Они были подрумяненные, из белоснежной муки.

— Это от отца вам. Он скоро придет, — торопливо говорил незнакомец.

Лицо его было покрыто крупными оспинками. Из-под нависших выцветших бровей растерянно смотрели белесые глаза.

— А где папа?

— Он скоро вернется.

— Когда? — упрямо переспросила я и не могла унять всхлипывания.

— Совсем скоро, — пообещал солдат. Увидев бочку с водой, набрал кружку и жадно приник к ней.

Галеты, каких я не видела никогда в жизни, валялись рассыпанные на подушке. Я протянула руку, чтобы собрать их, и подумала, что когда вернется отец, я уж так радостно не смогу его встретить, буду бояться, а вдруг это не он, ведь прошло столько лет! А солдат стоял у окна и, думая, что я не вижу, прислонил голову к холодному стеклу.

Так нас и застала мать. В растерянности, с побледневшим лицом подошла к незнакомому человеку, а он улыбнулся ей как-то беспомощно и произнес:

— Вот приехал с доброй вестью: Кузьма скоро придет. Подарки привез. А она плачет. — И виновато поглядел в мою сторону. Мать испытующе всматривалась в него. — Да вы не сомневайтесь, — заторопился он. — Ехали вместе, в одном поезде. Он простудился. А у нас дело такое, малость простуда — и в госпиталь.

В тот же момент кто-то постучал в дверь, и вошла почтальонша, протягивая письмо. Мать отшатнулась. Солдат изменился в лице, но разве он догадывался о том, как мы боялись тогда прихода почтальона и вместе с тем ждали его. Не было желанней человека с почтовой сумкой за плечами, когда он входил в твой дом.

Солдат прислонился плотней к косяку окна. Мать развернула письмо, и глаза ее заулыбались.

— Едет, едет Кузьма! Едет твой отец! — Она подхватила меня. И мы смеялись, счастливые.

Мать стала хлопотать у плиты, руки ее летали, и пела она как молоденькая: «Лишь только вечер затеплится синий...» Весело поглядывала на меня. За столом я поведала дяде Косте, так звали друга отца, как меня ударила лошадь и что хлеб я получила в первой шестерке вне очереди. Он рассказывал, какой мужественный человек мой отец, бесстрашный и отважный.

— Часто ли вспоминает нас? — спросила мама.

— Да Кузьма так рассказал о вашем переулке, домике, что я только вошел во двор, сразу узнал ваш дом.

Потом он стал рассказывать о службе, о солдатской дружбе. Мать пошла гладить белье, сказав, что скоро вернется. А дядя Костя взял папино письмо в руки и задумчиво перечитывал его, изучал штампы на конверте. Глаза у нашего солдата были колючие, а вот улыбка доброй.

Стоя перед окном, я сознательно задерживала дядю Костю вопросами. Вот бы сейчас он, дезертир, увидел нас. Сразу бы удрал, побоялся. А то, конечно, думает, что детвора и красноармейки — чего их бояться.

— Береги мать, — наставлял меня друг отца, когда я вышла его проводить, — она у тебя очень хорошая... Запиши-ка мой адрес. Мало ли, помощь какая понадобится.

Карандаша не оказалось, и я побежала за ним в дом. Когда вернулась, солдат удивленно всматривался в соседнее окно.

— Кто живет в этом доме? Штора открылась, и кто-то записку наклеил: «Не бойся, танцуй», но увидел меня и исчез.

Я вспыхнула.

— В игру какую-нибудь играете? — понимающе произнес он. А я тащила его подальше от окна, невнятно шепча:

— Да живет здесь один человек.

Что же я, глупая, делаю, ведь проболталась! А в руки никак не могла себя взять.

— Балериной хочу быть, — ляпнула я, лишь бы отвести разговор от опасной темы. — Танцую. Вот жду, когда папа приедет. Мама сказала, как только отец вернется, я смогу учиться в балетной школе. Папа работать будет. Нам с Людой не придется водой да цветами торговать.

Мы шли с солдатом по двору. Ветер выдувал снег, играл редкими, ставшими звонкими от мороза листьями.

У больших ворот солдат остановился и, повернувшись, как-то со значением сказал:

— Обязательно привезу вам отца.

Я неотступно продолжала следовать за ним — боялась возвращаться. Я хотела было расспросить дядю Костю, как мог дезертир попасть в дом Немировских, но удержалась. Это была наша тайна. А если бы я рассказала, дядя Костя, возможно, сам бы пошел к Немировским и отвел бы дезертира куда следует. Но это не входило в мои планы. На всякий случай я осторожно спросила солдата, могут ли быть дезертиры. Он удивился, почему меня волнует вопрос о дезертирах. «Нет, не проболтаюсь!» — И я подробно объяснила, что в городе ходит «черная кошка». И я своими глазами видела поваленный забор — эта кошка по нему разгуливала. Он рассмеялся:

— Кто тебе такую глупость сказал? Никакой кошки нет, а есть воры, рецидивисты, нечисть, оставшаяся от войны. А за дезертирство причитается расстрел.

— А люди, укрывающие дезертира? — вырвалось у меня.

— За укрывательство по головке не поглядят. Плохое это дело. Ну, прощай. Подарки от отца, консервы там, крупа, сахар, на скамейке за столом.

Меня не оставляла мысль о дезертире, и я тогда забыла, что с Колькой в ссоре. Ведь не только я, а красноармеец тоже видел дезертира. Мячиков умрет от зависти!

Моему появлению в доме Кольки никто не удивился, только мать протянула:

— Глянь, невеста без места заявилась.

На лице Кольки сверкнула такая радостная улыбка, что вся злость на него прошла. И я совсем не обратила внимания на ехидные слова тети Насти.

— Собирайся, пойдём. — Но Колька был уже в телогрейке, а вместо шапки натянул облегающий, как противогоаз, только с маленькой дыркой для рта и глаз вязанный подшлемник.

— Конечно, ты ненадежный товарищ. Но об этом мы ещё поговорим с тобой, — пообещала я. — Снова дезертир объявился: сейчас он пытался послать мне записку!

Колька даже онемел при этих словах.

Я рассказала и о красноармейце, который привез вести от отца и самолично видел записку. Я уже пережила этот потрясающий момент и просто наслаждалась, видя, как ошарашен Колька.

Но вскоре мне пришлось снова испытать тревожные минуты. Калитка, ведущая в наш дворик, была распахнута, а я ведь, помнится, ее закрывала на щеколду. Видно, кто-то в мое отсутствие уже побывал в пустом доме. Каково было мое удивление, когда в пустынном дворике я увидела разгуливающую Алку. Соседка никогда не заглядывала к нам. Что ей надо было в доме, когда жильцы его отсутствуют? Может быть, ее послали для переговоров? Такие мысли разом пронеслись во мне — сейчас откроется какая-то тайна.

— А, вот ты где! — воскликнула Алка, обращаясь ко мне. — Зашла, в доме пусто. Я тебя ищу. Сегодня будет фильм «Судьба балерины». Приглашаю, поедём на машине.

— Какой фильм? Почему? — оторопело переспросила я.

— Да я же сказала «Судьба балерины». Что вы как с луны свалились. Если не хочешь, можешь не ехать, — обиделась она. — Папа на вас сердился, что вы над ним подшутили. Но я его упростила.

— Могла и не упрашивать, никуда я не поеду, — чувствуя подвох с этой затеей, отрезала я.

— Тогда как хочешь, — огорченно протянула Алка.

— Правильно сделала, что отказалась ехать, — подбодрил меня Колька, когда обиженная соседка скрылась. — Ишь подлизываются. Чувствуют, что мы кое-что пронюхали, вот и приглашают.

Мне хотелось сказать Мячикову, чья бы корова мычала, а его молчала. В советчики лезет, а сам трусил. И с вызовом бросила:

— Конечно, я могла бы с красноармейцем пойти и заявить на дезертира.

Колька насупился, потом примирительно произнес:

— Не дуйся, Маринка. Я правда тогда не мог представиться больным. Мать перед Немировским лебезит. Мне и так попало. А ты в доме Немировских видела его? — осторожно спросил он.

— Нет. Только лишние тарелки, глубокую и мелкую, — помешала им кушать. Его прячут. Пошли к нам, в доме никого.

Я уже раскаивалась, что так грубо разговаривала с Алкой. Фильм, да еще про балерину, очень хотелось посмотреть.

— Лучше с ними не связываться. Но если ты очень хочешь, то поезжай, — видно, поняв мои чувства, проронил Колька. — Может, удастся что-нибудь выяснить в разговоре с дядей Мишей.

Если бы Колька знал, как после того обмана я боялась увидеться с ним. И как можно равнодушнее сказала:

— Наверное, Алка наврала и никакого кино не будет.

Между прочим, я так и предполагала. Но вечером около «виллиса» дяди Миши действительно собрались принаряженные девчонки. Все это время я мучительно думала, ехать или нет, вернее — возьмут или не возьмут меня. Решила: «Будь что будет, поеду, не выгонят же!»

По приказу Алки все стали садиться в машину. Раздался смех, писк, радостные возгласы. Но не отъезжали, видно, ждали дядю Мишу. Я как бы ненароком прошла мимо

«виллиса» раз-другой. Но никто меня не окликал. Негромко, но так, чтобы было слышно, беспечно завела: «Купи мне, мама, шляпу и драпальто». Нет, не откликались. Хоть бы отругали за хулиганскую песню. Я уже было потеряла надежду. Вдруг откуда-то выскочил Колька.

— Тебя не берут в кино? — громко спросил он. — Вот я сейчас, — и не успела я оглянуться, как он неистово застучал по дверке кулаками, потом приналег плечом: — Эй вы там, оглохли, что ли? — Дверца машины открылась, и Колька с силой впихнул меня внутрь, я оказалась на коленях у девочек.

— Все-таки надумала? — удовлетворенно спросила Алка. Я было попятилась согнутой спиной к дверке. — Сиди, сиди, подвиньтесь, девочки.

Я влезла на заднее сиденье, до отказа набитое девочками. Ждали дядю Мишу.

— Ну что, готовы? — спросил он, усаживаясь рядом с шофером. Я впервые так близко, в спокойной обстановке видела его. Лицо, усталое, с очень черными сросшимися бровями, улыбалось. Иногда он поворачивался к нам, чему-то тихо радуясь. А когда сидел прямо, казалось, что под каракулевым воротником нет шеи: плечи сливались с головой. Алка тараторила:

— Папа, а Маринка будет балериной!

— Не сомневаюсь, — как-то уверенно сказал он. — Только зачем старого человека гоняли ночью, непонятно.

Я покраснела, смутившись и вдавливаясь в спинку сиденья.

— Папа, какой ты старый? Ты молодой у меня, — пропела сладким голосом Алка. «Пронесло», — подумала я.

В машине полутемно, уютно. За летящими окнами сыпал косой снег. Хотелось ехать долго-долго. Но машина остановилась на центральной улице. Выходить из машины, на которую смотрит, наверное, весь город, в старом, в ржавую клеточку пальто казалось невыносимым. Даже Алке за меня будет стыдно. И, сбросив его с плеч, я небрежно перекинула пальто через руку, а сама с достоинством прошептывала в платье, не обращая внимания на снег, — матери рядом нет, некому ругать.

На лестнице широкого, залитого светом коридора лежал безмерной длины ковер. Дядя Миша нас не покидал. В огромном зале с красными бархатными креслами посадил нас, а сам устроился сзади. Шутил, смеялся. Торопливо прошел куда-то, вернулся с кульком конфет.

Солидности и замкнутости его как не бывало. А я невольно с завистью подумала: «Какой интересный отец у Алки». Но здесь же одернула себя: «Да, может, он следы замечает, подлизывается».

Я видела, что все с ним вежливо раскланивались и на нас смотрели по-доброму.

В зале погас свет. Пришла темнота, таинственность, и на экране появилась балерина. Тонкая, изящная, как молодой тополек. И очень красивая, с черными большими глазами и длинными ресницами. Она была из другого, необыкновенного, но понятного мне, волнующего мира. Ах, как прекрасна она была, сколько таланта и покоряющей силы несла эта хрупкая девушка. В какие бы страны она ни приезжала, в каких бы театрах ни танцевала, везде ее осыпали цветами, аплодисментами. А она после выступления, усталая, шла в свою комнату, полную цветов, зеркал и, оставаясь без зрителей, почему-то плакала, страдала, видно, она была несчастлива в чем-то. Путь ее был усыпан не только цветами. Но я, я готова на все. В ней, танцующей, я хотела, до слез хотела видеть себя.

Будет ли у меня такое? При мысли, что мне не дано узнать эту таинственную жизнь, тонко защемило сердце, и слезы полились из глаз. Алка толкала меня и шипела в ухо: «Знала бы, не взяла». Но я ничего не слышала.

Кончилось кино. Вместо дяди Миши к нам подошел шофер, одел нас и повез домой. Я не замечала ни ярких панно, ни своего пальто в ржавую клеточку, не слышала голосов — все мне казалось таким мелким, незначительным по сравнению с тем, что я сейчас видела и пережила.

В доме нашем что-то необычное, за накрытым столом много незнакомых. Ко мне кинулся навстречу брат Пашка — быстрый, сильный, он подкинул меня под потолок, а мать смеялась сквозь счастливые слезы, глядя на него, вернувшегося после пяти лет войны здоровым и невредимым. И радостно всем говорила:

— Вот, ждали отца, а первым сын вернулся.

Пашка кинулся к чемодану, подозвал меня к себе и вручил куклу-японку.

— Куклами она не занимается. Другие интересы, — заговорщически улыбаясь, сказала мать, и Пашка удивленно покачал головой.

Мать суетилась, подкладывая на тарелки еду и влюбленно смотрела на Пашку. Еще бы, ушел мальчишкой, а вернулся таким молодцом, вся грудь в орденах. Пашка удивленно разглядывал меня. Мать весело жаловалась:

— Сутками то на изгороди висит, то танцует до упаду. Отвел бы ты ее в балетную школу.

Я подпрыгнула от счастья.

— Некуда с этим спешить. Есть нечего, а ей балет. Артистка с погорелого театра, — заявила Людмила. Брат подмигнул мне весело: «Ничего, мол, все уладим».

Всю ночь на кухне горел свет. Когда гости разошлись, к Пашке под села мать. Уже засыпая, я слышала сквозь сон:

— На днях был человек от отца. Да и письмо получили. Скоро приедет. Скорей бы. Если бы не Маринка и Люда, не выжила бы в войну. А Маринке учиться бы в балетной школе. Есть в ней что-то. Вот посмотри, — она стала рыться в сундуке. Видно, достала мои ситцевые крылья, корону, тряпочные тапки с натолканными в носки комьями сбившейся серой ваты. — Море изображала. Видишь кружку, Маринка ставит ногу и стоит на одной ноге, как аист. — Брат тихо смеялся.

Два дня от гостей отбою не было. Шли и шли. Пашка жалел меня, не разрешал будить по утрам, сам ходил за хлебом. Он раздобыл дратву, перерыл всю кладовку и нашел несколько пар старых дырявых валенок. И вскоре мы трое щеголяли в валенках с серыми заплатками. Потом на починку принесла валенки Мячиха, за ней Ароновна.

Вместо матери он ходил в школу, подружился с Тамарой Ивановной. Плохо было то, что не разрешал гулять мне до тех пор, пока не сделаю уроки, заставлял переделывать домашние задания. Зато в тетрадях и классном журнале у меня появились четверки и даже пятерки. И Тамара Ивановна говорила: «Если, Кармалинова, и дальше так пойдет, ты у нас хорошисткой будешь». И мне было хорошо от этих слов.

Однажды, когда мамы не было дома и я делала уроки, а Пашка, сидя у печки на перевернутой табуретке, смолил дратву, из черной бумажной тарелки репродуктора раздалась до того красивая мелодия, что я не выдержала и проскользнула в комнату. Руки сами взлетели, я поплыла на цыпочках. Слышала, как Пашка прошел в комнату и, к моему удивлению, включил репродуктор на полную мощность... И я не стала стесняться брата, танцевала во всю силу чувств — такая волнующая музыка лилась мне прямо в сердце. И неизвестно откуда это у меня бралось: под влиянием мелодии я делала новые, по-моему, красивые движения. Вот полет — и я будто лечу, едва касаясь ногами пола, а здесь вот взрыв мелодии — руки встрепенулись, раскрылись и тянутся кверху, я взлетаю раз, другой — носочки вытянуты; музыка плачет — и руки безвольно упали, склонилась голова и чуть не слезы из глаз.

— Что ты танцевала? — Я вздрогнула. — Как танец называется? — спросил Пашка, когда репродуктор замолк. Я помотала головой. — Не знаю.

— Вот и мама говорила, что ты танцуешь и все сама придумываешь, — продолжал он, присаживаясь на кровать. — Станцуй еще что-нибудь.

— Я под тра-ля-ля тебе станцую. Хочешь?

И тихонько напела мелодию «Умиряющего лебедя» Сен-Санса. Потом танцевала «Море». А он сидел, молча смотрел на меня и улыбался. Сказал, поднимаясь:

— Хорошо танцуешь, не повторяешься. Вот бы тебя в госпиталь, в нашу палату, Да еще патефон. Ты бы быстро всех излечила.

...Зима все решительнее наваливалась снегом, метелью на город. Окно дома Немировских уже не было зеркальным, покрылось снежными узорами. Танцевать перед ним опасно, и не потому, что мешал снег, — я просто боялась: а вдруг неизвестный притаился за шторой. Пашка поведет меня в балетный кружок, я ему расскажу о дезертире...

И вот брат сказал: «Завтра выхожу на работу, некогда будет с тобой заниматься. Собирайся». Я кинулась его целовать.

Он почему-то повел меня в ТЮЗ. Знающие люди сказали ему, что при театре юного зрителя есть детская балетная школа.

В театре юного зрителя я была только раз, на новогоднем утреннике. Это старинное здание на Комсомольской площади с витым балконом, по-моему, самое красивое в городе. Меня тогда поразила широкая лестница, наверное, из мрамора. На втором этаже она разделялась на две маленьких лестницы. И пол из больших и маленьких голубых плиток, на которые я даже боялась ступить в своих подшитых валенках: от них оставались мокрые следы.

Билеты для меня и Люды на новогодний утренник принесли с завода, где до войны работал папа. Я тогда еще даже не была школьницей, шел второй год войны. Мы водили хороводы вокруг елки, и веселая женщина-затейник --она одна была в туфлях — показывала, как нужно танцевать. На мне была длинная братова безрукавка в клеточку, заменявшая платье, а из-под нее выглядывали шаровары. Я старалась понравиться женщине в туфлях, а та почему-то не обращала на меня внимания, вызывала в круг других девочек и мальчиков.

Я расхрабрилась и, когда женщина в туфлях спросила, кто прочтет стихотворение, первой вышла в круг и с выражением прочитала свое любимое «Елку вырублю в лесу». Мне под хлопки подарили зайчика. А потом нам в окошке по тем же билетикам выдавали подарки.

Этот шумный нарядный дом так и остался в моей памяти чем-то радостным и необыкновенным, наполненным музыкой и счастьем. А сейчас здесь решается моя судьба.

Сыпал острый резкий снег. Прохожие прятались в воротники, кажется, даже дома пригнулись от снежного вихря. Меня трясло то ли от холода, то ли от волнения. Я лихорадочно думала о том, что покажу на просмотре. Ну конечно же, «Море». И во мне уже звучала тонкая и печальная музыка, я готова была хоть сейчас нестись порывом, на цыпочках, чуть дыша, навстречу строгим судьям. Музыка пела во мне, тревожная и радостная, наполняя сердце надеждой и ожиданием того, что должно сейчас свершиться.

На двери центрального входа в театр юного зрителя висел замок и была приклеена бумажка. Она трепетала на ветру. Брат придержал ее руками: «Сегодня выходной». — Что ж, не повезло, — тихо произнес Павел.

Музыка споткнулась, словно меня ударили в грудь. Я не могла, не хотела поверить. Неужели ни одной живой души не было в этом большом красивом здании?

Мы вернулись домой. Тихо и жалобно выл в трубе ветер, медленно проступали тусклые квадраты замороженных окон. Холод пробирался к кровати. Невеселые мысли охватили меня. Отец не возвращался. Как без него плохо! Самой приходится добывать уголь. В прошлый раз чуть не обморозила ноги.

Мать поднялась, начала топить печь. Сквозь шум робко затрепавших, просушенных за ночь щепок я различала другое. Вот мать придвинула к духовке табуретку с валенками, потом раздался решительный треск — видно, жалеючи меня, она рвала на портянки старое детское одеяльце. Готовит меня в поход за проклятым углем. Людке хорошо: она в школе фабрично-заводского обучения, там ее кормят, поят. А нам с Колькой нести мешки, рисковать.

Мать навернула мне на ноги теплые портянки, натянула старую кофту, а поверх — свою телогрейку, сама, видно, в отцовском бушлате пойдет. Телогрейка длинная, широкая, с карманами. Подвязывая ее ремнем, мать говорила обычное: «Будьте осторожны».

Привязав к санкам пустой мешок, проваливаясь в снег, я пересекла наш дворик. Только в двух домах горел свет — нашем и Колькином. Он уже ждал меня, прижавшись к забору, слившись с ним.

— Чуть не уснул, давно жду. Скоро светать будет. Ох и холодище!

— Коля, наберем угля, привезем и пойдем в милицию. В школу чтоб не опоздать.

— А ты знаешь, где это? — спросил Колька. — Вот видишь, а я уже там был.

— Как? — возмутилась я. — Без меня?

— Нет, я постоял у входа. Там такой строгий дядька стоит. Мы ему сразу и доложим.

— Коль, скажи, а нас наградят? — Я уже давно об этом подумывала: гляди, по буханке хлеба дадут.

— Настоящие разведчики ничего не требуют за свою работу. Если нужно — наградят, — уверенно, по-мужски сказал Достань Воробушка.

В темноте неясные фигуры первых прохожих казались таинственными. Прошли через пустой снежный базар. Скорей бы кончилась зима.

На железнодорожных путях стояли вагоны. Мимо них нужно пройти незамеченным. Санки мы оставили под прикрытием и украдкой, чуть ли не ползком, добрались до огромной кучи угля. Колька орудовал ломом, а я рукавицами по горстке собирала в мешок отбитый уголь.

Я представляла, как мы с милиционерами окружаем дом Немировских, выбиваем дверь в маленькую комнату. У «того» бешеные глаза и пистолет в руках. Колька кидается ему под ноги, главный милиционер закручивает руки. Связанного ведем мы с Колькой по двору, а за нами — милиционеры. Со всех домов выскакивают удивленные соседи, ахают и смотрят на нас с Колькой как на героев.

Я так замечталась, что не заметила, как подошел сторож в тулупе с ружьем за плечами. Вздрогнула, когда он гаркнул на ухо:

— А ну-ка шагом марш отсюда, и тихо, как мыши!

Мы, испуганные, непонимающие, смотрели на сторожа, а он для большей важности снял с плеча ружье и наставил на нас. Мы кинулись прочь. Но Колька, опомнившись, вернулся и на глазах деда бесстрашно схватил пустой мешок и ломик.

Белый рассвет входил в город. Мы со всех ног летели в сторону дома. За нами санки. На одних мешок с углем, другие пустые. Но это нас не обескураживало. Ведь нас ждало большое событие — мы сейчас же, не медля, пойдем в милицию.

Уже рассвело, и показалось солнце, осыпавшее снег мерцающими до боли в глазах холодными блестками. Мы стояли у Колькиного дома и честно делили уголь. Достань Воробушка был добрый мальчишка и отсыпал мне чуток больше, хотел было взвалить мешок мне на плечо, как вдруг сзади послышался шум идущей машины.

— «Эмка», — оглянувшись, выдохнул Колька, и мы отскочили, уступая дорогу. Такая красивая машина еще ни разу не въезжала в наш двор. И совсем удивились, когда дверка перед нашим носом приоткрылась и показался военный, на погоне его шинели сияли две звездочки.

— Ребята, вы не скажете, где живет доктор Немировский?

— Вот его дом, — с готовностью сказал Колька.

Лейтенант направился к Немировским. А все дальнейшее было как во сне. Дверь дома соседней открылась, и на крыльце показался лейтенант, а с ним незнакомый человек в шинели. Да это же тот самый, что смотрел в окно! Наш дезертир! Вышел и стоит! Как ни в чем не бывало щурится на солнце. А бледный-то какой, худущий. Взяли голубчика! «Видно, большая птица, если за ним на «эмке» приехали, — торжествующе подумала я. — А как же о нем узнали?.. Колька?! Неужели он опередил меня? Ишь шмыгнул за свой забор». Но в

тот момент мне было не до Мячикова. Хотелось увидеть, как будут забирать дезертира, а с Колькой я после разберусь.

Дезертир, прихрамывая, — он был в шинели без погон — подошел к «эмке». Лейтенант почему-то стоял перед ним навытяжку и что-то говорил. Но слов разобрать было нельзя. С готовностью открыл перед ним дверку. «Чего это он выслуживается?» — в недоумении подумала я о военном. Вот дезертир улыбнулся и неловко влез в машину на переднее сиденье — рядом с шофером-солдатом.

Машина, чихнув, выпустила облако дыма, дала задний ход. И не успела я прийти в себя, как она на большой скорости свернула в наш узенький проулок и... пошла прямо на меня. «Да ведь он сейчас совсем уедет». Зажмурился глазами, загородившись, как щитом, полупустым мешком, я закричала что было сил:

— Стойте!

Заднее маленькое окно было припорошено снегом, но сидящие, наверное, слышали мой крик. Машина остановилась, выпрыгнул солдат — шофер.

— Ты что, под аварию толкаешь? — накинулся он на меня.

Открылась дверка с другой стороны, и выглянул дезертир. Я разглядела его лицо со впалыми щеками, свежий розовый шрам, уходящий от брови к виску.

— На нее не надо кричать, солдат. Марина, подойди ко мне.

Так же судорожно держа мешок в обеих руках, обомлев, я протиснулась между изгородью и машиной.

— Ведь тебя Мариной звать? — Он улыбнулся, и шрам слегка побледнел. — Спасибо тебе, девочка. Ты не понимаешь, как много для меня сделала. Этого я не забуду.

«Что я для него сделала? Куда его везут? — все смешалось в моей голове. — Ну, Мячиков, расправлюсь я с тобой!»

«Эмка» отъехала, а Колька медленно, кидая грозные взоры, приблизился ко мне и с видом прокурора спросил:

— А за это знаешь что бывает? — Он сжал кулаки. Я на всякий случай сделала два шага назад и приготовилась дать сдачу. Достань Воробушка наступал:

— Значит, одиночно ходила? Если бы я знал, что ты такая, — и он сплюнул сквозь зубы, — никогда бы с девчонкой не стал связываться.

Совесть моя была чиста, и я пылко заявила:

— Клянусь, если я хоть слово лишнее сказала, не быть мне балериной!

Мой друг разжал кулаки и вытер тыльной рукой лоб. Глухо произнес:

— Что он тебе сказал?

— Будто я что-то для него сделала, и он об этом никогда не забудет.

Колька помолчал, потом признался:

— Когда шофер погнал машину, я думал: дезертир хотел порешить тебя как свидетеля.

— Нет, что ты! Он еще шофера отчитал. — И, придвинувшись к сидящему на мешке Мячикову, я осторожно высказала догадку: — Коль, а может, он не дезертир?

— Но погон-то у него не было, — засомневался мой друг.

Тут и я разозлилась на упрямство Мячикова.

— Если бы это был дезертир, он мог стрелять в лейтенанта. Убежать.

— А если они в сговоре? — упорствовал Колька. Нагнувшись, он захватывал щепотки снега и кидал их в рот.

— Так зачем ему нужно было со мной разговаривать? При побеге каждая минута дорога. Ну подумай, откуда у дезертира может взяться «эмка»?

У Кольки было несчастное лицо. Все случившееся он воспринял как собственное поражение.

— У тебя все ясно, ты будешь балериной. А я вот мечтал, только ты не смейся, стать разведчиком. А какой я разведчик, дезертира упустил, — горестно сказал он.

Его чувства были понятны мне, я тоже переживала, когда театр встретил меня закрытыми дверями. А я-то думала, что Мячиков пустой мальчишка.

— Колька! — раздался сердитый голос отчима. — Ты что, сорванец, домой не идешь? Вот я тебе!

Колька поднялся и, всем своим видом выражая протест, побрел к своему дому.

То, чем мы жили, что скрашивало нам дни, исчезло. Мы с Колькой еще много говорили о человеке за шторой. История его таинственного появления была непонятна. Мячиков доказал свое бесстрашие: подкараулил вечером Алку на пустынной улице и потребовал, чтобы она все рассказала о своем жильце. Правда, Алка тихо похохатывала и ничего путного не сказала, кроме того, что обозвала Мячикова сопляком. Я за забором все слышала.

Со временем мы с Колькой все реже и реже вспоминали о дезертире. И, возможно, он совершенно был бы забыт, если бы нам неожиданно не напомнил о себе. Это случилось ранней весной.

Холодная, с крепким морозцем ночью, а днем с тоненькими сосульками и развеселой капелью, весна затянулась. В нашем доме от капли просто беда: в расставленные на полу ведра, тазы стучало, звенело — крытая шифером дырявая крыша текла. На плите, в ванне, кипятилось белье. Перешагивая через ведра, тазы, мать в который раз уже протирала пол.

Оплакала она смерть отца. Умер он в госпитале, возвращаясь с войны, не доехал до родного дома. Узнали мы об этом под Новый год. Мать с Пашкой ездили его хоронить. Мне не хотелось верить, что отца уже нет.

Времена изменились. Люда окончила ФЗО, получала зарплату на заводе. Было удивительно: в магазинах за хлебом исчезли очереди (двадцать—тридцать человек не в счет). Жилось нам легче.

Пашка пошел в вечернюю школу и работал на заводе. Ему приходилось нелегко. Дома его почти не видели. Он чувствовал себя виноватым передо мной и дал честное фронтовое слово, что после экзаменов в вечерней школе отведет меня в театр. И я не приставала к брату с балетом.

А Колька Достань Воробушка убежал из дома — оказывается, бил его отчим. Но ненадолго. Его искал весь двор. Тетя Настя места себе не находила. О побеге Кольки узнал дядя Миша Немировский. «Он поднял на ноги всю милицию, и серьезно поговорил с отчимом», — так сказала тетя Настя.

Было странно, что Вера и Надежда, которых Колька иногда обижал, ревели ужасно без Кольки. А вернулся он сам, добровольно — без милиции. Доехал на товарном поезде до станции Амур и вернулся. Почему-то он даже мне этого не сказал. К нему кинулись сестренки, тараторя: «Коля вернулся! Где ты был?». А он достал из кармана букетик помятых, ранних подснежников и говорит: «За цветочками для вас ездил». Тогда же Мячиха прилюдно заявила отчиму: «Слушай, Фома. Тронешь Кольку — вот тебе двери и порог. Мое слово крепкое, ты знаешь».

А мать моя вся как-то увяла, притихла. И в тот день была рассержена. А все безрукий незнакомый красноармеец виноват.

Он осторожно позвал через калитку: «Хозяйку можно?» На его худых плечах, как на вешалке, висела солдатская, сильно поношенная шинель. А на ногах едва держались рваные по швам ботинки. Солдат был пожилой, с густой щетиной на желтом лице. Вместо руки болтался пустой рукав. Многие тогда кого-то разыскивали, и, хотя мы сами пышек не пробовали, мать никого не отпускала, не напоив чаем. И этого однорукого усадила за стол, чисто протерла клеенку и загремела мисками. От пустого рукава солдата нехорошо пахло. А мать словно не замечала. Присела рядышком, расспрашивала о войне, где служил, не встречал ли случайно Кузьму Кармалинова, выложила незнакомому все свое горе.

Потом мать ушла в комнату, рылась в шкафу. Я знала — это она ищет что-нибудь для солдата. Но, видно, ничего подходящего не нашла. О чем-то продолжала рассеянно

думать, бросая взгляды на шкаф, где висел отцовский бушлат. Что она задумала? И когда уже закрылась за гостем дверь, решившись, быстро вернулась в комнату. Я видела из окна, как мать совала солдату что-то большое, завернутое в газету, он нерешительно отказывался. Потом все-таки взял, прижал единственной рукой.

Она пришла усталая, тяжело опустилась на табуретку. В комнате вдруг наступила тишина, только слышалось «дзинь-кап, дзинь, дзинь».

Что же я наделала? — тихо, словно беседуя с кем-то, сокрушенно произнесла она. И больше не проронила ни слова. Потом подошла к окну и, глядя во двор, без связи с происшедшим жалобно сказала:

— Идут с войны с руками и ногами, идут без рук и на костылях, а наш никакой не пришел. — Задумалась, словно меня и не было рядом.

Тихо вошедшую Алку Немировскую мы не заметили, пока она громко не сказала с порога:

— Здравствуйте! Я к вам!

Это было странно. После всей этой истории с дезертиром мы редко виделись. Что это Алку принесло сегодня? А как она повзрослела! И тут я увидела в ее руках аккуратный фанерный ящик.

— Это тебе, — осторожно переступая через расставленные тазы, протянула она посылку.

Я решила, что соседка шутит, и недоверчиво уставилась на нее.

— А почему на ваш адрес? Видно, почтальон перепутал? — равнодушно спросила мать.

— Нет, тетя Дуся, — ответила Алка, передавая мне ящик. — Все правильно. Адресовано Маринке. А от кого и за что, она знает.

На крышке было написано: «Переулок Лукашова, 15, Немировским».

— Мама, чем открыть? Где топорик? — разволновалась я, предчувствуя, что сейчас должна раскрыться какая-то главная тайна.

— Алка, миленькая, хорошая, скажи, кто послал?

— Ты знаешь, — невозмутимо отвечала Алка, орудуя топориком.

Любопытство мое усиливалось.

Первая посылка в моей жизни! Что в ней могло быть? Конфеты? Сыр? — такой в банках, берешь за хвостик, крутишь с силой, и банка открывается. А может быть, кукла с закрывающимися глазами (я слышала — такие есть). Или Кольке — бинокль?

Когда крышка открылась, я ахнула: наверху лежали розовые атласные тапочки с тесемками, как у настоящих балерин, и аккуратно сложенное что-то белое. Алка нетерпеливо встряхнула. — Балетная пачка! — объявила она.

— Да кто же это тебе, дочка? — спрашивала мама, обращаясь то ко мне, то к Алке. — Может, платить надо или как? Ведь большие деньги стоят.

— Бесплатно, — проронила Алка.

— Как бесплатно?

Алка задумалась, потом осторожно сказала:

— Предположим, жил-был человек. Случилась у него беда большая. Нашлись люди, лечили, ухаживали, а девчонка каждое утро танцевала.

— Это Маринка-то? Все тайны, тайны, — ворчала мать, трогая рукой атлас тапочек, но в голосе ее было только удивление, с которым она, как и я, не могла сладить.

Как танцевала я утрами у завалинки, видел только тот человек за шторой. Что же это? Посылка от него?

Надеясь на отгадку, обшарила рукой пустой ящик — ничего.

— Откуда это? — Мама подняла упавший в таз сложенный вчетверо листок. Я выхватила, поспешно развернула.

«Михаил Никодимович и Алла, здравствуйте! Не удивляйтесь — высылаю небольшой подарок для соседской девочки. Вы знаете ее. Она очень помогла мне.

С уважением Сергей Гармышев».

Гармышев? Сергей Иванович?

— Мама, это от дяди Сережи Гармышева!

Мама изумленно всплеснула руками и забросала Алку вопросами. А я мучительно соображала, и неожиданная догадка вдруг осенила меня: дядя Сережа Гармышев и человек в окне Немировских одно и то же лицо!

— Алка, миленькая, так, значит, у вас жил дядя Сережа? — кинулась я к ней. — А мы его с Колькой искали, искали...

— И думали, что у нас живет чужой? Эх вы! Красного командира за дезертира приняли, — выговаривала она мне, и в голосе ее были и насмешка, и обида, и мне было страшно неловко, но Алка великодушно предложила: примеряй подарок.

Тесемок столько, что не разберешься, совсем легко запутаться. Мама с Аллой очень старались, помогая мне одеться. А материя тонкая, в несколько рядов — раз, два, три, четыре. На груди, чтоб не просвечивало, — с подкладочкой. Немного великоваты тапочки, но мама одобрительно сказала: «На вырост».

— А это что? — спросила она, засунув руку в тапочек и нащупав там «пробки», вместо которых, чтобы не было больно пальцам, в свои тапки я подкладывала вату.

— Пуанты, — со знанием дела сказала Алка.

«Пуанты», — повторила я про себя, чтобы лучше запомнить.

Накрахмаленная юбка торчала вертикально — и руку не опустишь. Она шуршала и, кажется, пахла театром, музыкой и еще чем-то таким прекрасным, от чего у меня закружилась голова.

Ох и красивая я сейчас, наверное! Я проплыла на полу-пальцах в комнату к Людмиле. Стала ее тормошить, но она после ночной смены спала как убитая. «Ну проснешься, увидишь, с погорелова ли я театра», — ликующе думала я, заглядывая в маленькое, с отбитым краем зеркальце, висевшее на стенке. А мама с Алкой наблюдали, как я крутила, поворачивала его так и эдак. Но видела лишь кусок юбки, худущее плечо с розовой лялочкой и снова кусок юбки. При каждом движении она шуршала, будто нашептывала, сколько счастья желанного, ясного ждет меня впереди. Это надо же, во сне, в глубокой тайне не смела мечтать о таком. За что такой подарок? Танцевала для него? Но я же репетировала для себя! А в сердце с радостной настойчивостью звучали слова письма: «Здравствуйте, не удивляйтесь. Там-там, там-там. Гармышев. Здравствуйте, не удивляйтесь!»

Скорей к своему окну, большому, зеркальному. Эх, сейчас бы он выглянул из-за занавеса. Не узнал бы. Да я ли это? В зеркале стояла непохожая на меня балерина. Падала весенняя капель, смеялось свежее утреннее солнце. Когда Пашка отведет меня в театр, возьму с собой пачку и тапочки. И тогда обязательно меня примут в балерины. А если спросят: «Откуда у тебя это?», скажу: «Даже фронтовику, командиру, понравилось, как я танцевала». А может, и ничего не скажу. А уж потом, когда пройдет много-много лет, расскажу, как я стала балериной.

Я весело сделала одно «па», другое.

— Простынешь, — кричала мама, оттаскивая меня от окна. И захваченная моим неудержимым весельем, торопливо, насухо протирала на кухне пол, освобождая место и приговаривая: «Диво-то какое». А я широко кружилась в вальсе, совершенно уверенная, что это не кухня, где потрескивала печка, парилось белье и в расставленные кастрюли, тазы стучала звонкая капель с дырявой крыши, а сцена самого большого театра на земле с гаснущим светом хрустальных люстр, притихшим залом и тысячами внимательных глаз, глядящих на меня, балерину.